

Старое кладбище

Автор:

Марьяна Романова

Старое кладбище

Марьяна Романова

Тихое провинциальное кладбище. Почерневшие от времени покосившиеся кресты, заросшие крапивой могилы, поблекшие от дождей остатки венков, вечный покой, нарушаемый только криком растрепанных ворон. Но это – днем. Ночью – это территория Смерти. Здесь по таинственному слову открываются двери в иные мрачные миры. И горе тому, кто попытается проникнуть в кошмарную тайну жителей потустороннего мира, захочет войти в контакт с умершими людьми, проникнуть в ледяной души мир призрачных теней...

Марьяна Романова

Старое кладбище

© М. Романова, 2015

© ООО «Издательство АСТ», 2015

* * *

Посвящается Святославу Корсуну, который вдохновлял, беседовал со мной о беспредельном и терпеливо слушал мои страшные сказки по ночам.

Кладбищенский сторож, которого все фамильярно называли Санычем, давно знал, что старуха Евдокия Петровна, полвека назад похороненная, задержалась в междумирии и бродит по ночам. Смотрел он на это философски: во-первых, сознание его было изменено многолетним соседством с мертвыми, во-вторых, спать он без поллитрушки никогда не ложился – водка была его личным миротворцем, способным осенить спокойствием любые странные обстоятельства, в-третьих, к своим подопечным, спавшим в гробах, Саныч относился с почти отеческой теплотой. Человеком он был одиноким, и мертвые стали его безмолвными друзьями, теми, к кому каждый день были обращены его остававшиеся без ответа речи. Были у него «любимые» мертвецы, были и те, на могилах которых он почти никогда не появлялся.

Администрация кладбища считала Саныча человеком странным, но работу его ценила – в свободное время он приводил в порядок бесхозные могилы, поправлял кресты, если те начинали кособочиться от дождя, ветра и времени, даже иногда высаживал на могильные холмики садовые астры и незабудки. Своей лучшей подругой считал некую Настеньку, умершую в возрасте четырнадцати лет, – на ее памятнике была черно-белая фотография: серьезная девушка с оленьими глазами и решительно сжатым ртом. Люди с такими лицами становятся учеными или революционерами, Настенька же покинула мир, толком его и не познав.

Саныч ее жалел и часто приходил на ее могилу жаловаться. Ноги болят к дождю, отопление в сторожке опять не работает, зарплату задержали, водка подорожала – всё это рассказывалось холодному памятнику, и Санычу казалось, что Настенька смотрит на него с пониманием. Он всегда старался ее как-то порадовать – то крошек хлебных на могилу набросает, чтобы вечная тишина и мерзлота, ее окружавшая, была нарушена птичьим гомоном. То весной земли свежей на холмик подсыпет да цветочков высадит. И казалось старому Санычу, что мертвые понимают его лучше, чем живые. У могил он входил в какое-то особенное состояние, как будто бы и сам проваливался в безвременье и междумирие. Даже дыхание его замедлялось, взгляд останавливался, и сам он становился больше похожим на могильный памятник, серого каменного ангела, чем на человека из плоти и крови. С мертвыми можно было неторопливые беседы вести – чаще мысленно, но иногда и вслух. Они не отвечали, но Саныч точно знал, кто его слышит, а к кому обращаться смысла нет. У него даже была на этот счет собственная теория: после смерти большинство душ отправляются по уготованному им маршруту – сначала, подобно мелкой пыли, развеивается над миром информация, им принадлежавшая – воспоминания, знания, отпечатки лиц, на которые они когда-то смотрели с любовью. Эта информация, как купол,

окружает землю, и иногда можно неосознанно уловить ее отголоски – как будто бы в голову вдруг пришла чужая мысль, приснился чужой дом или человек, которого ты совершенно точно не видел никогда, но почему-то лицо его родным кажется. Потом уходят эмоции. Душа как будто бы раздевается, слой за слоем отбрасывает ненужное, чтобы пойти дальше налегке. Но есть люди, которые цепляются за отжившие слои своей личности – то ли боятся дальше идти, то ли не имеют на это сил. Задерживаются, шатаются по миру бледными отпечатками самих себя.

Летом он любил проводить на старом кладбище всю ночь, до рассвета. Его сознание давно примирилось с этим местом – в отличие от большинства живых, у Саныча не было иррациональных страхов, связанных с погребением. Обычная будничная декорация его спокойной и, в сущности, счастливой жизни. Он медленно бродил по аккуратно подметенным дорожкам, иногда по-хозяйски поправлял сбитый ветром венок на чьем-нибудь кресте, отмечал про себя, где что надо починить или подкрасить, дышал этой вязкой, особенной прохладой, наслаждался соседством с вечностью, ее торжественностью и величием, перед которым меркли все заботы, планы и проблемы.

Вот во время одной из таких прогулок он старую Евдокию впервые и увидел. Почему-то страха не было – хотя другой, возможно, за одну ночь поседел бы. Бродит между могил старуха в саване, спина у нее прямая – такая осанка редко встречается у пожилых, руки вытянуты по швам, как две гитарные струны, лицо желтое и плоское, как тусклая полная луна, глаза закрыты, но несмотря на это идет она уверенно, не спотыкается, как будто точно знает направление.

Саныч почему-то сразу старуху узнал, хотя до этого видел только фотографию на ее памятнике. На снимке Евдокия немного по-другому выглядела – смерть меняет не столько черты, сколько атмосферу. Покойники-шатуны обычно такие вязкие, лица у них, как воск подплавленный – как будто бы вот-вот кожа и мясо с костей стекать начнут.

Сторож подошел поближе, закурил. Евдокия на него не обращала внимания – наверное, чувствовала, что мешать он не собирается и напитать ее яркими эмоциями – ужасом, тоскою, – не может. Они были друг для друга не более чем декорации. Две параллельные прямые, которые пересеклись в альтернативном измерении, вопреки земным физическим законам. С тех пор Саныч часто ее примечал – покойница появлялась будто бы из ниоткуда, всегда ближе к рассвету, и несколько часов тихо шаталась по кладбищу, между могил. Что она

искала, что хотела получить – ему известно не было.

Есть такие люди, которые смерть тонко чувствуют. Рожденные с мрачным даром смотреть смерти в лицо, а потом возвращаться. Редкость это большая, и люди такие, как правило, не знают, как можно обратить этот талант себе на пользу. Не у кого им научиться, да и предпочитают они не распространяться о том, что видят – людей ведь обычно так пугает соседство смерти, степень отрицания иногда настолько зашкаливает, что они готовы записать в извращенцев и сумасшедших всех, кто смотрит на мир под другим углом и видит чуть больше их самих. Тихо наслаждаются, ни с кем не делаясь. Люди эти обычно одиноки, и если прогуляться неспешно по любому большому кладбищу – особенно ближе к вечеру, – можно увидеть кого-нибудь из них. Я называю их свидетелями смерти – звучит, возможно, слишком пафосно, зато отражает суть. Опознать их можно по особенному выражению лица – они как будто бы погружены в глубокую медитацию. С одной стороны – спокойствие и отрешенность на грани анабиоза, с другой – стопроцентное внимание, гурманское чувство момента.

И однажды мне довелось познакомиться и даже несколько лет пожить бок о бок с человеком, который чувствовал смерть настолько тонко, что как будто бы общался с нею запанибрата как с равным себе собеседником. Человек этот в итоге определил и мою судьбу.

Случилось это в девяносто втором году, и мне тогда едва исполнилось пятнадцать лет.

Самое главное воспоминание моего детства – дождь. Казалось, дождь был всегда – то беловатая морось, то ледяной ливень водопадом, то просто густой влажный воздух – выходишь на улицу, и как будто бы кто-то проводит по твоему лицу влажными ладонями. О деревне, в которой я родился, ходили слухи, будто бы построили ее в проклятом месте, и сюда никогда не заглядывает солнце. У каждого жителя был тяжелый непромокаемый плащ, какие обычно носят рыбаки, летом – галоши, осенью – высокие резиновые сапоги, делавшие походку осторожной и тяжелой. Мне казалось, по этой походке я смогу всегда узнать своих. И еще по взгляду – у наших даже в глазах был дождь.

Деревня наша в низине – повсюду овраги, в сумерках клубящиеся туманом, с четырех сторон – лес, и только петляющая глинистая дорога уходит через поле

и рощу в мир, куда большинству из нас был заказан путь. Почти никто из жителей нашей деревни не выезжал дальше областного центра. Богом забытое место – доживающие свой век дома, сложенные из темных бревен; старики, словно пустившие в вечно размытую дождем глину невидимые корни; неплодородные, точно чрево старухи, поля.

Соседняя деревня, до которой можно было добраться за час на велосипеде, была побольше: там и магазин, и школа, и вечно закрытая библиотека, и даже небольшой клуб, в котором по субботам под шлягеры «Комбинации» и «Ласкового мая» неприкаянные живые мертвецы с дождем в глазах имитировали беззаботность, любовь с первого взгляда и возможность счастливого будущего.

Не знаю, как и когда мою семью занесло в эти края, где люди сразу рождаются обреченными, откуда выход только на погост. Мой род – загадка. Мать никогда не упоминала о своих родителях, не любила вспоминать детство. А мы с братом и не спрашивали – лично я ушел из семьи в том возрасте, когда будущее интересует намного больше, чем прошлое, тем более чужое.

Наша маленькая семья – мама, я и брат Петя, младше меня на два года. Отца я почти не помнил – смутный образ, возможно, вообще иллюзия. Мне было три года, когда его посадили на веки вечные – двенадцать лет. Он убил своего товарища – заколол ножом, а за что, никто и не знал. Пили вместе, что-то отмечали, а наутро отец сел на старенький мотоцикл и отправился в ближайшее отделение милиции. Одежда его была в крови, и больше я его никогда не видел. Впрочем, этот случай был скорее не шокирующей частностью, а мрачной закономерностью – в наших краях многие житейские конфликты решались с помощью ножа или топора, хотя у односельчан не было в отношениях страсти, того самого огня и слепой ярости, которая однажды отключает разум и вдохновляет оголить клинок. Раскисшие северные дороги, вечный холод, пробирающийся под телогрейку – и даже пьяная поножовщина была какой-то полуобморочной, тихой, как будто бы дрались мертвецы.

Папа отбывал срок где-то в Сибири. Знаю, что мать ездила его навестить, полгода откладывая на билет. Это была неподъемная дистанция. Мы едва сводили концы с концами, и часто, особенно зимой, пропускали ужин, потому что, заглянув в подпол, мама убеждалась, что картошки хватит только до февраля, надо как-то ее экономить.

Картошка! Как я ее ненавижу! Вареная, жаренная на масле или, по праздникам, на гусином жире, печенная в костре, раскрошенная вилкой в супе. Очень редко появлялись курица, гусь или рыба – караси, за которыми мать иногда ходила к затянтому рясной пруду. Мне повезло – при рождении природа отсыпала мне достаточно жизненных сил, чтобы примирить мое тело с нищетой. Брату Пете повезло меньше – он был бледным, рыхлым и вялым, к его бескровной коже не приставал загар, у него случались приступы кашля, и очень часто наш местный фельдшер со вздохом говорил: «Этот не дотянет до весны».

Но брат тянул, и с годами мы привыкли, что это его норма – существовать в междумирии, на грани жизни и смерти. Случались дни, когда от слабости он не мог подняться с кровати, и тогда мать становилась особенно нервной и злой – могла дать мне оплеуху вместо ответа на какой-нибудь невинный вопрос или даже вытолкать меня из натопленной горницы в ледяные сени, как будто бы я был лишним в этом царстве скорби. Мне не было обидно – я воспринимал маму как непредсказуемого грозного идола, с которым можно было ужиться, если не пускать его в сердце, а просто принять к сведению его законы. С братом она была нежнее – всё время боялась, что он доживает последнее. Это была нежность с дрожью к будущему мертвецу.

Я брата жалел, возможно, это была любовь. Та любовь, на которую я был способен. Любить ведь тоже учиться нужно, я же никогда не видел ее проявлений. Материнская нежность – тарелка с дымящейся картошкой, которую поставили передо мною на стол, и вопрос: «Не прохудились ли твои сапоги?» Для брата же я был одновременно объектом зависти и опорой. Ему хотелось быть как я – чтобы можно было, дождавшись редких безоблачных дней, уехать на стареньком велосипеде вдаль, крутить педали с таким веселым отчаянием, как будто бы у тебя существует пункт назначения, а не просто смутное желание сбежать. Общаться с немногочисленными соседскими мальчишками – обычная пацанская дружба: шалаши, сигареты, игральные карты с порнографическими картинками. Скупое общение, да и то оно обрывалось в ноябре, когда дожди становились бесконечными, как будто бы над нами прохудились небеса. Двадцать четыре часа в сутки небо извергало влагу – ливень, потом и снег. Какие у нас были метели! Воздух казался белым, ничего дальше метра не видать. И дружба обрывалась – вот так запросто добрататься в соседнюю деревню было невозможно.

У меня была отдушина. Девочка. Светлана. Мы родились в одно и то же лето, и вот странно – она как будто бы была всегда. Я помню ее с уродливой

желтоволосой куклой под мышкой. Ее семья жила через три дома от нашего. Такие же пленники гиблых мест, как мы сами. Отец Светланы пил горькую, а у ее матери не было ноги – она передвигалась на костылях, неподходящих ей по размеру, похожая на жирную старую цаплю. Мне всегда казалось странным, что в семье, в которой все были больше похожи на мертвецов, чем на живых, родилось такое создание, как Светлана. Она была какой-то бестелесной, как призрак. Тоненькой – такая тонкая кость редко встречается в деревнях. Однажды я слышал, как мать назвала Светлану «бракованной». Кожа такая нежная, что вены просвечивают, волосы пшеничные, в золото отдают. Длинные синеватые пальчики, как у русалки, водянистые глаза, длинная птичья шейка, нос с горбинкой. Уже годами позже, покинув деревню, я часто вспоминал о ней, пытался представить ее лицо и находил, что по канонам современного мира она была скорее дурнушкой. Пройдет мимо – никто и не оборотится. Но для меня она была самым прекрасным на свете существом. Светка была молчуньей, казалось, она вообще не нуждалась в присутствии других людей, и в этом я тоже находил прелесть – ее недосыгаемость подогревала интерес. Она была как бабочка за стеклом или фарфоровая куколка в старинной шкатулке – любоваться можно, но в руки брать страшно, рассыплется в крошево.

Как-то мать Светланы пришла к нам во двор, грузно опустилась на лавку и, избегая смотреть в глаза, проговорила:

– А если ваш к моей Светке ходить начнет, на себя пеняйте. В колонию пойдет, дом ваш сожгу, топором всех порешу. Вы меня знаете...

Для этого мрачного речитатива не было никаких оснований – я едва здоровался со Светланой, и это было даже не обычное «ну, привет!», а кивок издалека. Мне было двенадцать, и кровь моя была горяча, но я только сжал кулаки, понимая, что нельзя говорить в ее одутловатое личико всё, что я о ней и ее семье думаю. От моих откровений ничего не изменится, разве что Светлану будут бить.

– Что это ты за глупости несешь, Михайловна? – подбоченилась мать. – Кому твоя Светка вообще нужна?

– Да твой придурок так на нее смотрит, что скоро дырку проглядит. Я давно заметила. Если хоть на метр подойдет – горя хлебнешь!

- Да пошла ты в жопу, Михайловна!

Но мать Светланы уже тяжело поднялась и поковыляла прочь на своих костылях, кряхтя. Она мне казалась старухой, хотя на самом деле ей едва ли было больше сорока. Ее молодость была объедена нищетой и мрачными декорациями, в которых она родилась и вырваться так и не смогла - не хватило ни ума, ни удачи, ни жизненного огня.

А мать меня потом в сторонку отозвала и в глаза заглянула.

- Что у тебя со Светкой, скажи? Не подходи ты к ней от греха подальше. Видишь, ненормальные они совсем. Михайловна, поди, тоже бухать начала, вслед за остолопом своим.

- Я и не подхожу, - пробурчал я. - Очень мне надо...

- Вот и хорошо! Девка-то, и не взглянешь без слез! А всё туда же, берегут. Радоваться должны, что хоть кто смотрит на нее. Только вот не случится такого, дураков у нас нет.

А вот Петя, брат мой, удивил меня. Как всегда, поздним вечером я присел на краешек его постели. В раннем детстве это была моя обязанность: поговорить с ним перед сном, потом ставшая привычкой, а с годами трансформировавшаяся в некоторую форму любви.

- А я все слышал! - сказал брат. - Видел, как мать Светкина приходила...

- Ну, приходила и приходила... Нам-то что? Давай тебе почитаю.

- Да ну... - поморщился брат. Он был еще бледнее обычного. - В книгах всё не по-настоящему. А хочется... как в жизни.

- Да у кого она есть, та жизнь? Посмотри вокруг - дрянь одна.

- А давай уедем! - прищурился брат. - Уедем и станем пиратами.

– Что? – засмеялся я, потому что представить бледного худенького Петю на пиратской шхуне, обдуваемого солеными ветрами, крепко держащего штурвал и храбро атакующего корабли, было невозможно.

– А почему ты думаешь, что я не могу быть пиратом? – насупился Петя. – Если надо, даже погибнуть в море не побоюсь... Всё лучше, чем дома торчать.

– Сбежим, сбежим... – Я вовремя вспомнил о междумирии, в котором обитал мой брат, о скорбной улыбке фельдшера, на днях в очередной раз заявившего: «До зимы не дотянет». – Вот подрастем немного только.

– Знаю, ты врешь. – Петя отвернулся. – Сам сбежишь, а меня не возьмешь с собой. Со Светой соседской убежишь. И не пиратом станешь, а просто будешь жить в городе и нарожаешь детей.

– Дурак ты, что ли? С какой еще Светкой? Сейчас в лоб дам вообще.

– А то я слепой! Я хоть и лежу целыми днями, а сам всё подмечаю. Знаю, что ты по уши в нее втрескался. Улыбаешься даже, если она мимо окон идет.

– Заткнись, а? А то не буду «Тома Сойера» тебе дочитывать.

– Ну и не очень надо. А Светка – страшная! А вот стал бы пиратом, и в тебя влюбилась бы красавица. Потому что все красавицы любят пиратов.

Не помню, чем закончился тот разговор – возможно, я треснул его по голове подушкой, как делал обычно во время наших ссор. (Бить Петю всерьез было нельзя, он бы и пинка одного не выдержал, выпустил бы из своего хилого тела душу.) А возможно, просто ушел, притворившись обиженным. Или даже остался и читал ему «Тома Сойера» вслух, пока веки его не отяжелели и его не забрал к себе Морфей, обычно показывавший ему сказки о морях и кораблях с черными парусами. Но помню, как я был удивлен – и наблюдательности его, и внезапному осознанию, что ведь прав он. Видимо, мое желание наблюдать за Светланой и то, что я мог в таких мельчайших подробностях представить ее лицо, едва закрыв глаза, и было детской влюбленностью.

Правда я никогда не мечтал прикоснуться к ней, никогда не воображал себе, что однажды предложу прокатиться на моем стареньком, от отца оставшемся мопеде, завезу ее на лесную опушку и там прижму к поваленному размокшему дереву. Залезу под подол простенького платья, и она будет молить: «Нет... не надо... ты спятил, что ли?» Мне шел тринадцатый год, я рос в деревне, и почти все мои разговоры с друзьями сводились к теме «баб», как мы называли всех женщин, независимо от их возраста.

Была у нас соседка девяноста пяти лет от роду, некая Вера. Выглядела так, словно знала рецепт эликсира бессмертия – лицо румяное, хотя и в морщинах, как растрескавшаяся от зноя земля, спина прямая, смех молодой, походка легкая. Люди к старости становятся мрачными, оно и понятно: трудно сохранить беззаботность, когда прошлое длиннее будущего. Но Вера же была исполнена такого жизненного энтузиазма и легкости, словно не было за ее спиной тяжелой жизни, и не хоронила она мужей и детей, не осталась, в итоге, одна как перст в старой избе с прохудившейся крышей, которую некому починить.

В детстве мы с братом любили забегать к ней на чай – она была радушной, угощала нас домашним хлебом и рассказывала о том, какой красавицей была в молодости и как все вокруг ходили к ее родителям свататься. В ней был какой-то уют, и она воспринималась более вечной и надежной, чем все вокруг – и дома, и другие люди, и даже лес. А потом вдруг получилось так, что она сошла с ума – быстро, тихо, почти незаметно для окружающих. Сначала стала реже из дома выходить – в этом не было ничего удивительного, к старости почти все слабеют и становятся как будто бы привязанными коротким поводком к своей постели. Чем дольше живешь, тем поводок этот короче – сначала, вроде бы, гуляешь, где вздумается, потом можешь с трудом добрести до магазина в соседней деревне, а потом и прогулка до скамеечки во дворе начинает восприниматься большим путешествием.

Потом Вера запирается начала. В деревне нашей это было не принято. Никто не закрывал дома даже на ночь – от кого скрываться, все же вокруг свои, о чужаках же, которые почти никогда в наших краях не случались, становилось известно, когда они едва появлялись на горизонте. Вскоре появились и другие странности – с ее лица исчезла улыбка и вместо воспоминаний о былой блестящей молодости она все чаще бормотала какие-то мрачные вещи.

По привычке мы с братом продолжали ее навещать, хотя теперь она нас не радовала, а пугала. Теперь Вера рассказывала о том, как во время войны она вместе с односельчанами, никто из которых не дожил до ее лет, съела человека.

Была зима, голод, безысходность, в деревне остались одни женщины, и вот однажды к одному из опустевших домов прибился чужой – то ли беглый солдат, то ли просто странник. Пришел да и остался, надеялся обжиться в краях, где никто его не знает. Вера и не помнила, кто первым это предложил, но, кажется, сначала это прозвучало как шутка – а вот бы этого чужого убить, а мясо его разделить. Никто ведь и не узнает, у него и документов, поди, нет. Да и сам чужак наивно рассказал, что остался совсем один.

Шутка превратилась в план за считанные часы. И вот уже в одну из мерзлых ночей самая сильная из баб крадется к дому чужака, пряча под телогрейкой топор. Снег скрипит под ее ногами, дверь, конечно, не заперта. Остальные ждут напряженно – а если кто начинает всхлипывать и вслух бога поминать, остальные смотрят с осуждением. Тут уже не до бога. Короткий вскрик – чужак ничего и понять не успел, его спящим подкараулили.

И вот Вера вместе с другими идет в сарай, где прямо на полу разделяют тело, даже одежду с него не сняв. Кому-то нога досталась, кому-то – потрошки. Недолго спорили, куда голову девать, в итоге закопали ее за тем же сараем, в Верином дворе.

В ту ночь над деревней стоял густой запах мясного супа – в каждом доме варилось мясо. Вере было жутковато первую ложку есть – человечина все-таки, но голод был сильнее сострадания. Они договорились никогда не обсуждать случившееся и обещание сдержали.

Мы, конечно, матери все рассказали, она только поохала: совсем, мол, Верка с ума сошла, несет уже не пойми что, не верьте этим сказкам.

А в другой раз Вера рассказала совсем жуткое. Будто бы у нас с Петей был еще один брат, младшенький, которого мы запомнить не могли, потому что прожил он всего четыре дня. А после мать наша соврала всем, что помер младенец, но Вера видела, как та сама его утопила.

- Некстати он пришелся, и без него едва концы с концами сводили. Вот и решила избавиться. Голод иногда с людьми страшное творит.

Больше мы никогда к ней не ходили. Я, конечно, не поверил Вере, а вот Пете после этого рассказа несколько ночей подряд кошмары снились. Как будто бы мать его приглашает прогуляться к реке, сталкивает с обрыва, а потом спокойно смотрит, как тот бьет ладонями по ледяной воде, путается в ряске, пытается выбраться.

- Ну что ты как маленький, - пытался я успокоить брата, - врет же она все.

Петя всхлипывал и как-то странно на меня смотрел, как будто бы у него есть секрет. И в итоге не выдержал все-таки.

- Егор, ты ведь никому не скажешь?

- О чем?

- Неважно. Я тебе покажу кое-что, а ты молчать будешь.

- Ну ладно, - пожал плечами я. Что такого мог показать мне брат, большую часть дня проводивший в постели?

Петя полез под кровать, где хранилась коробка с его бесхитростными безделушками - деревянными корабликами, школьными учебниками, картами несуществующих стран, которые он любил рисовать. Достал сверточек - как будто бы мяч, в тряпки обернутый. Развернул, и глазам моим предстал череп - человеческий череп, пожелтевший, в земле перепачканный.

- Вот. - Петя смотрел на меня, едва не плача.

- Твою мать... Где ты это взял?

- А ты не скажешь? - зашептал брат. - Не скажешь никому?

- Я же обещал... - пришлось ответить мне.

Петя зашептал мне в самое лицо: после того, как старуха Вера рассказала нам о съеденном чужаке, он выждал момент, когда она по делам пошла, рванул к ее сараю с лопатой, все там перерыл и нашел вот это.

- Не врала она, - шипел брат, - не врала про того человека, понимаешь? Они правда съели его, а голову закопали.

- Ну, ты дурак... Старуха же наверняка увидела, что у нее там перекопано все.

- Ну и что она сделает? Дело-то давнее. Хотела бы скрыть - вообще молчала бы.

- Зачем же ты взял череп? Выброси его!

- Как ты не понимаешь? - Лицо у Пети в тот момент было таким детским, таким беспомощным. - Ведь если она про тот случай не соврала, значит, и про маму нашу...

- Замолчи! - строго приказал я. - Про маму врет она. Просто напугать нас хотела.

- Но как ты можешь...

- Заткнись, я тебе сказал. И не смей ни с кем больше это все обсуждать!

Брат только вздохнул. Череп я у него отобрал и отнес на старое кладбище. Прикопал в чью-то могилу. А на мать с тех пор смотрел с недоверием - неужели она могла вот так утопить младенца новорожденного? Просто потому, что боялась - хлеба на всех не хватит. И с одной стороны - нас же спасала, о нас заботилась, к нам она уже привыкла, полюбила нас, а тот, другой, всего четыре дня прожил, он сам был как чужак. Но с другой стороны - младенец же, плоть и кровь ее, плакал, наверное, молока ее просил, от запаха ее успокаивался, мог еще жить и жить... Но время шло, и я о той истории почти забыл. Да и Вера вскорости померла.

В мой пятнадцатый июль брат мой совсем ослабел и перестал вставать с постели. С ним и раньше такое случалось - тело становилось как будто бы ватным, но никогда это не продолжалось так долго. Петя скукожился и стал

похож больше на старичка, чем на мальчика. Мать кормила его из ложки протертым картофелем, а сердобольные соседки приносили молоко – больше у нас ничего не было. Брат почти перестал разговаривать, это отнимало слишком много сил. Каждую ночь ждали – вот сейчас он уйдет. Но Петя продолжал жить, как всегда, он был стабилен в своем междумирии.

Мать наша сначала Петю жалела и боялась, что наконец настал тот момент, о котором столько лет подряд твердил ей фельдшер и в который она почти перестала верить. Но шли недели, и на смену страху пришло раздражение. Ей начало казаться, что Петя недостаточно старается, чтобы встать на ноги. Выздоровление – это работа, а он работал плохо, плевался картофельным супом, капризничал, как будто бы ему было пять лет.

Он лежал в подушках, такой крошечный, усохший, большие запавшие глаза на желтом лице. И отказывался принять все то, что она предлагала – еду, книгу, свежий воздух из форточки. Целыми днями он апатично смотрел в потолок, иногда начинал всхлипывать – плохо ему было, болела спина, от слабости он не чувствовал рук и ног, дышать было трудно, а глаза заволкло серой пеленой.

Однажды мне даже пришлось за брата вступиться – тот, неловко вскинув руку, случайно опрокинул на пол очередную тарелку давно опостылевшего ему супа, и мать вышла из себя, дала ему затрещину. Голова Пети дернулась, как будто кукольная с шеей-пружинкой. Я подскочил к кровати и оттолкнул мать. Та потом пришла в себя и плакала в кухне – мне было и жаль ее, и противно из-за того, что она вызвалась быть нашей опорой, а сама так легко теряла душевное равновесие.

Следующим утром, на рассвете, Петя тихонько разбудил меня – его слабый голос сначала ворвался в мой сон, став одной из его деталей, а потом точно рыболовным крючком выдернул меня в реальность. Я сел на кровати и потер глаза кулаками.

– Ты что не спишь? Пять утра...

– Поговорить с тобой хотел, – прошелестел брат. – Егорка, страшно мне.

– Это еще почему? – Я нарочито бодрился. Мне самому было страшно за него – страшно однажды увидеть его в гробу. – Не говори глупости, тебе уже вчера

лучше было. Ты поправишься!

- Нет, - помотал головой брат. - Не даст она мне. Приговорила меня.

- Кто «она»?

- Да мама же.

Я потрогал ладонью его лоб - прохладный. Я видел, что брат не притворяется, по-настоящему боится - губы дрожат, зрачки расширены. Видимо, он долго собирался с духом, чтобы поделиться со мной. Но то, что он говорил, было похоже на бред.

- Мама хочет, чтобы ты выздоровел. Я слышал, как она говорила соседке, что фельдшера пора звать.

- А я вчера слышал, как она молилась! И приговаривала: «Прости, Господи, не потянуть мне двоих, не могу, не получается!»

- Молилась? Нет, ты точно бредишь, - с облегчением вздохнул я, - тебе, поди, приснилось?

- Я сам удивился! Вечером было, ты ушел куда-то. Она думала, что я сплю. Мне сначала почудилось, что пришел к нам кто-то, и мама тихо с ним переговаривается. Но потом понял - это она до бога достучаться пытается. Так горячо бормотала, как сумасшедшая.

- И что она еще говорила?

- Да вот только это... - всхлипнул Петя. - Как будто бы прощение просила... За то, что меня убить собирается. Егор, мне так страшно! Я же давно вижу, как надоел ей.

- Да любит она тебя.

Я вовсе не был уверен в том, что говорю правду. Не очень верил, что наша мать, в принципе, еще способна на любовь, не растратила все силы на выживание...

– Она так говорила, – твердил Петя. – Если бы она с соседкой перешептывалась, я бы еще подумал: устала, бредит сгоряча... Но то соседка, а то – бог...

– В которого она не верит, да! Успокойся ты. А если так уж боишься, я тебя не оставлю. Буду все время с тобой, и тогда тебя никто не тронет!

– Правда? – Брат ухватился сухой маленькой ладошкой за мою руку. Ему было уже тринадцать лет, но он выглядел максимум на девять – маленького роста, худенький, лопухий, с капризно сложенными губами и испуганным взглядом.

Петя успокоился и уснул, а я с того дня начал пристально за матерью наблюдать. Из дома я почти не выходил. Каждый раз, когда мать просила меня дров наколоть или воды принести, у брата становилось такое лицо, словно палач уже занес над ним топор окровавленный. Как назло, дни выдались солнечные – редкость в наших краях. Даже глинистая дорога немного подсохла, прогрелся воздух – обычное лето с гудящими шмелями и высоким беловатым небом. Казалось, односельчане начали забывать про вечный дождь.

А я сидел дома у постели брата, который чувствовал себя виноватым за мое заточение, но и отпустить меня не мог, потому что искренне верил, что только мое присутствие продлевает жизнь, за которую он за эти годы не устал цепляться. Я развлекал себя чтением, иногда подолгу смотрел в окно и получал приз: мимо окон шла Светлана, которая тем летом распустилась как цветок, превратившись в почти красавицу. Она носила некогда цветастый сарафан, застиранный добела, светлые негустые волосы отрастила до лопаток, и была Светка похожа на воскресшую утопленницу.

Мать раздражала моя внезапная привязанность к брату – казалось бы, она должна была радоваться тому, что кто-то взял на себя обязанности по уходу за больным. Но она бродила вокруг нас точно лиса, приметившая курятник и выжидающая удобного момента. Все время спрашивала меня: не хочу ли я прокатиться на велосипеде? А может быть, мне сходить на речку и искупаться – вода, наверное, нагрелась. Или прогуляться в лес – вдруг повезет и найду грибы? Тогда она сварила бы вкусный суп. На все ее предложения я отвечал отказом.

Вскоре от такой жизни я сам не мог понять: то ли вечное пребывание в душной комнате брата затуманило мое сознание, и я заразился его сумасшествием, то ли в словах Пети и правда что-то было, и мать начала воспринимать его как жертву, а не сына. Украдкой я за ней подсматривал и обнаружил много странностей: у нее появилась вырезанная из газеты икона. Иногда, поздно вечером, она подолгу смотрела в окошко, и в глазах ее стояли слезы, хотя никогда раньше я не замечал у нее склонности к меланхолии.

В какой-то газете я прочитал, что в одном городе мать ножом заколола троих маленьких сыновей. В суде она утверждала, что находилась в состоянии аффекта, была как бы в мороке и не ведала, что творит. Жила она трудно, растила детей одна, потеряла работу, выбилась из сил, не могла платить по счетам. Все знакомые вскоре покинули ее, верной подругой осталась только бутылка клюквенной наливки, которую она иногда покупала на последние гроши. Приобретала себе иллюзию спокойствия и веры в то, что завтрашний день может принести что-то хорошее, хотя на самом деле он всегда оказывался еще более безнадежным и мрачным, чем вчерашний.

И вот один из сыновей, вернувшись домой из школы, с обидой сказал, что у него одного в классе нет ни кроссовок, ни джинсов, и поэтому девочки не хотят с ним дружить. Матери почудился в этом невинном заявлении упрек – последние жизненные силы она тратила на то, чтобы хоть как-то держаться на плаву. Бордовая пелена гнева заволокла ее глаза, она бросилась вперед, схватила мальчишку за волосы, ударила головой об угол стола, а потом била его мясным ножом – много раз, мертвого уже.

На крики прибежали двое других сыновей, и с ними она тоже расправилась. Тридцать два взмаха рукой, кровавые брызги на выкрашенных дешевой масляной краской стенах, ноздри раздуваются от нутряного соленого запаха. Она кричит, катается по полу, вывалявшись в крови собственных детей, а потом засыпает там же, среди их остывающих тел, и спит двое суток, пока взволнованная соседка, у которой есть ключ, не пришла ее навестить и обнаружила страшное зрелище. На суде она плакала и оправдывалась: выбилась из сил, не смогла, не потянула, нет мне прощения, я Медея, я просто очень устала...

Это были девяностые: расцвет желтой прессы, газеты пестрели такими придуманными историями.

Я заглядывал в мамино лицо, которое начало мне казаться почти незнакомым. Я не мог вспомнить ее улыбку, не мог вспомнить последний раз, когда она была ко мне добра. Я почти поверил в то, что говорил мне Петя. И я был готов его защитить. Сон мой стал чутким, как у лесного зверя, и под подушкой я теперь прятал небольшой охотничий ножик. Я был сильнее и быстрее матери, я был уверен, что успею перехватить ее руку и не допустить беды.

Но конечно, тогда я и предположить не мог, что она задумала на самом деле.

Жара стояла недолго, опять начались дожди. Дождь вернулся в нашу деревню, как загулявший супруг к жене, которая настолько устала от его присутствия, что только радовалась одиночеству. Но муженек вернулся, он был привычным и спокойным, дом наполнили его запахи, в его объятиях не было страсти, одна только привычка, и она успокоилась, смирилась и поплыла по течению.

Дожди шли день и ночь, дорога снова размокла, деревенская улица опустела, и вот однажды утром мать сказала мне:

– Егор, а давай в церковь сходим. Вместе...

– Это еще зачем? – нахмурился я. – Ты можешь дурить как вздумается, а я ни во что такое не верю.

– Да и не надо тебе верить, ты меня просто проводи. – Немного понизив голос, она добавила: – За Петьку нашего помолиться хочу. Вроде он на поправку пошел, может, и вытянет опять.

Брату действительно стало немного лучше. Он даже начал выходить во двор, правда, всего на несколько минут. На его щеках снова появился румянец, он перестал отказываться от еды и попросил альбомы для рисования.

– Это не займет много времени. Службу отстоим, я свечки поставлю и сразу домой.

Я сомневался. Идти куда-то (а тем более в церковь) с матерью мне не хотелось. С другой стороны, родной дом я уже начал воспринимать как тюрьму. А там –

дорога через лес, запахи мокрой коры и глины и хоть какие-то, хоть скудные, но все-таки впечатления. Петя меня подбодрил: мол, что мне будет, если она тоже уходит? И я решился.

Через лес мы шли молча. Мать торопилась и почему-то нервничала. Мне было любопытно, что у нее на уме. Я едва успевал за ней – подобрал длинную юбку, она шла напролом, как будто бы опаздывала на важную встречу, и вместо представлявшейся мне неспешной прогулки до церкви у нас получился забег на короткую дистанцию. У меня было странное ощущение, что меня уводят из дома навсегда и в родную деревню я больше никогда не вернусь.

Спешка была ни к чему – мы не опаздывали и даже пришли на четверть часа раньше до начала службы. Народу в церкви собралось мало. Пришла юродивая из соседней деревни – молодая баба с расчесанными в кровь руками и бельмом на глазу. Она подходила к прихожанам и изрекала какую-то муть, ей самой казавшуюся пророчеством. Были несколько наших соседей, ходившие в церковь не в поиске высоких истин, а мучимые банальной скукой.

И тут я заметил незнакомца. Чужака. Он стоял чуть поодаль, один, и я сразу обратил на него внимание, и почему-то мое сердце забилось быстрее, хотя ничего особенного в облике этого человека не было. И все-таки он как магнит притягивал к себе посторонние взгляды. Невысокий, жилистый, молодой, не более сорока пяти лет, но совершенно седой. Дочерна загорелый, волосы до плеч, прихваченные обычной аптечной резинкой. Широкие скулы, серые глаза, нос с небольшой горбинкой – ничем не примечательное лицо. В свои пятнадцать я был выше его на полголовы и намного шире в плечах, но в нем чувствовалась какая-то внутренняя сила, что-то незримое, но все-таки очевидное каждому – я бы никогда не рискнул такому человеку перечить.

В нашей деревне у кромки леса некогда жил один мужчина, прошедший Афганистан и вернувшийся в родные края. Он мечтал жить тихо-мирно и хотел жениться на милой работающей женщине. В итоге всё, конечно, вышло не так – наши края были страной разбитых мечтаний. Женился он на горластой почтальонше Зинке, родился у них истеричный болезненный сынок. Парень пил, Зинка орала на него так, что сбегались соседи. Ночами ему снились военные кошмары, которые он так и не смог забыть. И вот он однажды сказал мне, маленькому еще, что у тех, кто смерть видел близко, меняется взгляд.

Свидетели смерти всегда могут опознать «своих» – она как будто бы впечатывается в сетчатку глаза и остается там навсегда. Никакой благодатью, никакими светлыми мещанскими буднями печать смерти потом не изгонишь. Как пуля, оставшаяся в плоти, обросшая мясом, принятая телом как его часть.

Я часто вспоминал его слова и убедился, что он был прав.

Так вот, в глазах чужака явно читалась печать смерти. Я заметил это и вздрогнул. Ни на кого незнакомец не смотрел – ни на молодого священника, ни на юродивую, ни на мою мать, никто не привлекал его внимание, только я. Мне стало не по себе – взгляд его был странным, чужак как будто бы мясо на рынке рассматривал, решая, достаточно ли оно свежо, чтобы быть зажаренным и съеденным. Его не волновало мое смущение, он никак не отреагировал на мой ответный пристальный взгляд. Я нервничал, а он оставался спокойным. Взгляд его был похож на прикосновение – это была бесцеремоннейшая форма нарушения пространства. Все это продолжалось не больше двух минут, но навсегда осталось в памяти – моя первая встреча с человеком, в доме которого мне предстояло провести несколько следующих лет.

Наконец он отвернулся. Мне захотелось выйти из церкви на воздух, но мать вдруг удержала меня за рукав.

– Егор... Пстой. Я должна кое-что тебе сказать...

– Здесь слишком душно... – Я чувствовал себя опустошенным, на это не было никаких причин, но из меня будто бы половину крови выпили. – Я выйду, подожду тебя на лавочке у кладбища. Ты же на службу хотела.

– Егор...

Впервые за последние несколько лет ее голос смягчился, это было странно. Мне было бы спокойнее, если бы я услышал грубый окрик, а то и получил бы затрещину, в этом была бы стабильность привычного. А вот неожиданная мягкость матери почему-то воспринималась предвестием беды, и как потом выяснилось, не зря.

– Ну что еще? Почему ты так странно смотришь на меня?

– Потому что мы не на службу пришли, – наконец выдавила мать. – Видишь того человека в черном? Сейчас ты пойдешь с ним. Он отведет тебя в твой новый дом.

Ее слова показались абсурдными, в первый момент я даже рассмеялся, готовый поддержать эту натужную шутку. Но лицо матери оставалось серьезным.

– Так надо. Подумай о брате. У него есть шанс жить. Но нам нужны деньги. А этот человек обещал деньги дать, если ты начнешь работать на него.

– Мать, у тебя температура? Что значит «работать на него»? Что я буду делать?

Мама прятала глаза, ее пальцы, в которых намертво въелись загар и грязь, нервно комкали край свалявшейся шерстяной кофты.

– Я не знаю, – наконец сказала она. – Ему нужен подмастерье. Я привела тебя за тем, чтобы он посмотрел, подойдешь ли ты. И он кивнул. Кивнул мне. Значит, ты подойдешь... Егор, я все понимаю. Прости меня, что я вот так... – Нижняя губа матери дрогнула, а кулаки сжались – мать впилась ногтями в свои ладони, это помогало удержаться от слез. – Ты не подумай, я у него спрашивала... Удивилась, что он так запросто может принять на работу мальчишку... Он сказал, что дел много, но работа нетрудная. Ты будешь травы собирать, дома убираться и помогать ему во всем.

– Я никуда не пойду! – Я повысил голос. – Ты что, продать меня решила? Продать, как корову? Своего сына?

Священник с неодобрением посмотрел на меня.

Я рванул к выходу, мать засемила за мной. Я резким пинком толкнул тяжелую дверь. Прохладный влажный воздух был спасением, у меня подкосились ноги, я рухнул на шаткую березовую скамеечку у входа и подставил вспотевшее лицо дождю. В тот момент я еще не верил в предопределенность моей судьбы: за меня всё было решено, за моей спиной состоялась сделка, я был продан, деньги получены, мосты сожжены.

Мать выбежала за мной и с облегчением вздохнула, увидев, что я остался у церкви. Наверное, она боялась, что чужак разозлится и деньги обратно

заберет. Даже спустя много лет я так и не узнал, за какую сумму мать согласилась никогда больше не видеть меня. Продала меня человеку, которого в нашей деревне все стали называть Колдуном.

Его настоящего имени никто и не знал. Он был местной легендой – я слышал о нем от разных людей, с самого детства, но, признаться, не верил в его существование. Никто из наших никогда его не видел. Говорили, что Колдун живет отшельником в лесу, что ему уже под сотню лет, тело и лицо сохранил молодыми – должно быть, продал за это дьяволу душу. Говорили, что могущество его не имеет пределов – он может и грозу вызвать, может и человека убить, и сделать так, чтобы один намертво так возжелал другого, что умереть готов был бы за проведенную вместе ночь. Никто не знал, где точно находится дом Колдуна, никто из грибников никогда на него не натыкался, что давало повод местным скептикам думать, что этого человека не существует вовсе.

Я был растерян, раздавлен, казалось, что вижу дурной сон. Но делать было нечего – пришлось пойти за чужаком по лесной тропинке. Шли мы молча, Колдун со мною не разговаривал, не пытался быть приветливым, как-то успокоить меня. Ему было плевать и на мои чувства, и на меня самого.

Дорога была долгой, сначала по полю, потом через рощу, по берегу реки, по петляющей лесной тропинке и наконец по бурелому, бездорожью. Лес становился темнее и гуще, я никогда не забирался далеко в чащу, а Колдун, похоже, чувствовал себя как дома. Он уверенно двигался вперед, ориентируясь на видимые ему одному вехи.

Только спустя несколько часов мы наконец оказались у плетеного забора, который окружал полянку и деревянный сруб. Дом как дом – небольшой, и немного странно, что находился он в таком глухом месте.

Быстро темнело. Колдун сказал, что о моих новых обязанностях мы поговорим утром, а теперь я должен хорошо отдохнуть, потому что легко мне не будет.

Это были единственные слова, которые я от него услышал в тот день.

Моя реакция его не интересовала – сказав это, отпер тяжелую дубовую дверь, вошел в дом, и мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним.

Постель, на которую указал мне Колдун, напоминала гроб. Горница его была тесной – всего одна комнатуха, и, видимо, чтобы я поменьше мозолил ему глаза, Колдун выделил мне местечко в закутке под широкой лавкой, как щенку. Подо мною – доски, надо мной – доски, подстилка жидкая, набита соломой. Холод, темнота и тоска. В первую ночь, несмотря на усталость, я долго не мог уснуть, лезли в голову мысли разные, воспоминания. Вспомнил бабушку соседскую и рассказ ее, как одну ее знакомую заживо похоронили, когда бабушка еще девицей была.

Бабушкины сказки были похожи на галоп необъезженного жеребца – пляс фактов, путаница мыслей, то про одно, то про другое, – слушаешь ее, а сам как будто спутавшийся клубок разматываешь, и так без конца, пока до сути не доберешься.

Была у бабушки в юности подружка, звали Любашей, и приглянулась она женатому из соседней деревни.

Была Любаша той особенной чистоты, свойственной дурнушкам, когда верят в то, что в сердце живет ангел, и только полюбивший тебя его разглядит. И будет не на тебя уже смотреть, не на твои плечи нескладные в бежевых веснушках, не на водянистые глаза и рахитичное брюшко, которое ты прячешь под выцветшим сарафаном, перешитым из мамкиного, не на жидкие волосы цвета ржавчины, а на ангела, живущего внутри. И слышит любимый не твой голос, который ты и подать-то стесняешься, поскольку родители с самого детства внушили, что место твое – предпоследнее, в лучшем случае, и что тише воды и ниже травы – твой девиз, иначе быть беде. А слышит голос ангела твоего, свет от которого струится из глаз твоих. И чует запах ангела – небо, счастье, немного предгрозового озона, неведомая чужеземная сладость, а не твой кисловатый пот. Любаша верила, что женатый мужчина ее ангела разглядел, хотя соседке, кто поциничнее, предупреждали, что среди его интересов были только крепкая молодая задница и доверчивость молоденькой дурочки. Ни в ангела, ни в черта он не верил. Все лето за околицей они встречались, Любаша убежать с ним мечтала. А бабушка-соседка, в ту пору молодая еще, сразу знала – быть беде. Так и случилось.

Осенью понесла Любаша. Сама-то не сразу поняла, что случилось, думала, что болезнь какая-то напала. Бледная ходила, мутило ее по утрам, наизнанку выворачивало. А к зиме стало очевидно – живот вперед выдвинулся, грудь налилась. Любовник женатый перепугался, сходил к родителям ее. Любаша, дура, радовалась, думала, что руки просить. А они все как-то против нее сговорились. То ли напугал их, то ли пообещал что-то, то ли просто настроение совпало, повод избавиться от никчемной дочери появился. Ведь Любаша была в семье восьмая, младшенькая, нелюбимая, проблемная. Слишком мечтательная для деревенской жизни – такую и замуж не выдать, и дома держать проку нет.

Приговорили Любашу.

И вот одной из октябрьских ночей, уже стылых довольно – вся жухлая трава в кристальной изморози, – мать к ее постели подошла, постояла минуту над спящей дочерью. У той уже живот круглый, ходуном ходит – младенец нерожденный какой-то космической своей интуицией, видать, близость смерти почуял. Да подушку тяжелую на лицо ее опустила.

В Любаше ни силы отродясь не водилось, ни ярости, ни жажды жизни. Плыла она по течению, любую невзгodu смиренно принимала, любому врагу с готовностью подставляла мягкое брюшко, не было у нее ни клыков, ни шипов ядовитых, ни когтей острых. Все так легко прошло – и не сопротивлялась почти. Руками всплеснула – даже не подушку отталкивала, а как будто воздух обнять пыталась, кого-то невидимого, кто у кровати ее стоял. Может быть, просто не поняла со сна, что происходит. Дернулись ее ноги в последней судороге, так и затихла. Потом для вида вызвали фельдшерицу – в деревне все друг друга знают, все заодно, та была в курсе ситуации, поохала, все нужные бумажки заполнила.

Вечером того же дня, еще и не стемнело, и схоронили Любашу быстро. В деревне было принято, чтобы тело мертвое последнюю ночь в доме родном провело – попрощаться, обмыть как следует, снарядить в последний путь. Но на мертвую Любашу с животом ее тошно смотреть было. Только вот когда уже в гроб ее положили, кому-то показалось, что живот беременной шевельнулся – как будто мать мертва, а младенец жить продолжает. Замешкались родственники Любашины. А что тут сделаешь, не вспаривать же ей брюхо, да и не выжил бы младенец, срок его не подошел еще.

У могилы гроб заколачивать приготовились, а когда крышку почти опустили, глаза покойная вдруг распахнула. Все это заметили, все видели. Потом еще друг дружку уговаривали на поминках: бывает, мол, такое, мышечное сокращение. После смерти и волосы расти продолжают, и ногти, и газы по телу так гуляют, что иногда кажется, дышит человек. Она ведь почти весь день в гробу на столе лежала недвижимая, была бы жива – это было бы ясно. Но глаза-то какие были – осмысленные, блестящие, не как у мертвеца. Как будто бы в последнюю секунду проснулась она, из обморока глубокого вышла и поняла, какая участь ей была уготована. Гроб быстро закрыли, заколотили молча, в яму опустили да землей присыпали – всё без слова единого. Торопились как будто бы сообщники.

Бабка, что с покойницей дружбу водила, рассказывала, что приходила на могилу к подруге. Тем же вечером пришла, цветов полевых букетик принести решила, не по себе ей было, что так скомканно, не по-людски, похороны прошли. И вот сидела она у свежего холмика земли, думала о грустном. О том, что еще вчера – вера в светлое будущее, а сегодня не осталось ничего, кроме убогого холмика.

Вдруг показалось, что под землю стонет кто-то. Плачет, тихо и тоскливо. Она даже на землю легла, ухом к могилке прикинула. Так и есть – глухие стоны, ни с чем не перепутаешь. И не потусторонние какие-то звуки, не как в сказках страшных об упырях и вурдалаках, а нормальный человеческий плач, слабый только очень, глухой. Девчонка перепугалась, со всех ног в деревню кинулась, в дом покойной кулаками застучала. Мать покойницы открыла – глаза заплаканные, злые, настороженные. Девушка как будто бы споткнулась об этот холод и неприятие, говорить даже было тяжело. Попыталась спутанно объяснить: Любаша-то в гробу плачет, заживо закопали ее, надо срочно бежать на старое кладбище, может, еще можно спасти! Она же с ребеночком, страшно ей, больно ей, это что же такое! Но мать покойницы только оплеуху ей отвесила звонкую. «Что душу бередить пришла, фантазерка малолетняя! Пошла отсюда, не лезь не в свое дело!» Девушка на могилу вернулась, не знала, что и делать, только вот звуков из-под земли больше не было слышно.

– Задыхнулась, видать, девка, – со вздохом мне старуха рассказывала. – Я часто потом о ней думала. Лица близких стерлись из памяти, а вот Любаша до сих пор как живая перед глазами стоит. Непутевая... Я потом поняла, что случилось, дошло до меня, что специально так все было устроено... Но так и в голове уложить не смогла: как же можно было дочь родную закопать заживо? Счастья той семье, конечно, не было, бог-то он всё видит. И дом горел у них, два раза отстраивали, и младший сын по весне под лед провалился да утоп, и много чего

еще было. А мне до сих пор кошмары снятся, что засыпаю я сном глубоким, а потом глаза распахиваю и последнее, что вижу, – крышку гроба закрывающегося. Темно, тесно, молоток по крышке стучит, голос мой перебивает, а потом – вечная пустота, пока не задохнешься...

Я вспомнил этот рассказ, лежа под лавкой, впервые ночуя в лесном домике Колдуна. И другие мысли лезли, все тоскливые. Я поверить не мог, что мать продала меня, на погибель определила, как будто в страшной сказке. Увела в лес, с глаз долой, избавилась от лишнего рта. Под утро я даже всплакнул от осознания незавидности собственной участи. Мне было пятнадцать лет, и казалось, что жизнь моя кончена.

Утром проснулся от тычка в бок – не сразу понял, где нахожусь. Едва светать начало – небо в узеньком закопченном окошке было светло-серым, пасмурным. К ресницам моим будто бы по камню привязали – так хотелось спать. Но Колдун пинал меня босой ногой под ребра, чувствительно, так, что мне пришлось выползти из-под лавки и сесть на пол, протерев глаза кулаками.

– Уже половина пятого, – неодобрительно заметил он. – Время в лес идти, пока солнце не поднялось.

Завтрака мне не предложили, а я спросить постеснялся. В Колдуне было что-то необъяснимо мрачное, предвестие беды. С ним не хотелось лишней раз заговаривать. Я пробыл в его доме сутки, и за это время слова грубого не услышал, однако почему-то явственно чувствовал – если что-то пойдет не так, он может меня и убить. Хотя роста Колдун был невысокого, телосложения скорее хрупкого – узкие плечи, небольшие, как у девчонки, ладони, но в этом всем чувствовалась скрытая сила лесного кота. Литые мускулы, смуглая кожа, спокойное скуластое лицо, вкрадчивая походка.

Первые дни мне всё время казалось, что Колдун у меня за спиной стоит. Я даже его дыхание на затылке будто бы чувствовал, и тонкие волоски на шее топорщились – как будто опасность какая-то мне угрожала, как будто бы сама смерть, проходя мимо, случайно задела меня рукавом. Оборачиваешься, а сзади и нет никого – померещилось.

Утром Колдун меня в лес повел. По лесному бездорожью он шел быстро, я едва поспевал за ним. Бурый мох колыхался под нашими ногами как Саргассово море – иногда нога проваливалась в него по колени. На мне были старенькие китайские кеды, которые мгновенно промокли и отяжелели. Я спотыкался о коряги, иногда падал на колени, но Колдун не считал нужным ни обернуться, ни хотя бы немного замедлить шаг. Наконец он остановился и, наклонившись, сорвал какую-то травинку и протянул мне.

– Вот. Ищи такие же, набери как можно больше. Срывай у самого основания, корни не выдергивай. Набьешь все карманы – тогда и вернусь за тобой.

И, не оборачиваясь, он ушел прочь, я же остался на поляне один, окруженный белесым, как жидкое молоко, туманом. Небо было светло-серым, моросил дождь, одежда моя быстро намокла. Я трясся и вибрировал, пытаюсь согреться. Мне пришлось встать на четвереньки в чавкающую грязь, но даже так было трудно разглядеть нужные травинки среди густой поросли. Дрожа от холода, я перебирал траву руками, стебли, которые понадобились Колдуну, были твердыми, несколько раз я поранил пальцы до крови. От жалости к себе хотелось плакать. Всё же в деревне у меня было то самое простое, что позволяет чувствовать себя человеком. У меня был дом, сухой и теплый, были свои бесхитростные двери в чистую радость – и мопед, и удочка, и ожидание, что Вероника из крайнего дома с улыбкой посмотрит мне в глаза. А теперь я ползал в грязи, как дворový пес, и даже не знал не то чтобы своей участи, но и каких-то незначительных ее деталей – дадут ли мне еду, будет ли такая каторга каждый день, так уж ли я нужен Колдуну и не найду ли я смерть, попытавшись отсюда убежать?

Так прошло несколько часов – когда Колдун вернулся, солнце уже стояло высоко над лесом. Я сидел, прислонившись спиной к толстому стволу дерева, обнимал колени и пытался не потерять сознание от холода. Колдун взглянул на меня неодобрительно и даже, как мне показалось, брезгливо поморщился. Позже я привыкну, что он нетерпим к слабости, но в первые дни это казалось странным.

Колдун уже давно определял себя как некую частичку Вечности, заключенную в форму тела. Его раздражало изначальное несовершенство сосуда. Когда я узнал его ближе, понял, что это отчасти страх – он боялся единственного, что невозможно было взять под контроль. Времени. Он виртуозно играл с Временем, умел сжимать его так, что часы казались мгновением, умел чувствовать его с точностью до минуты, не пользуясь часами, или наоборот –

растворяться в нем, видеть его как бесконечное пространство информации, в котором прошлое и будущее читаются как страницы библиотечных книг. Но Колдун ничего не мог поделать с неизбежностью времени, с его постоянным током.

Осень сменяла лето, потом наступала зима, и тем, кто жил в режиме машинального восприятия мира, казалось, что так будет вечно. Но время умело ждать и однажды отнимало у каждого его наивные «навсегда». Влюбленные клялись друг другу в вечной страсти, расчувствовавшиеся невесты плакали, стараясь, чтобы не потекла тушь, а спустя двадцать лет смотрели на тех, кто когда-то для них был чуть ли не богом, с отвращением и тоской. Белолицые красавицы любовались на себя в зеркалах и благодарили небо за джекпот, пока однажды не наступал день, когда никто не оборачивался им вослед и единственной фразой становилась: «Ты сделала всё, как я просил?»

Я кивнул и показал Колдуну набитый травинками карман. Колдун не поблагодарил даже, просто велел идти домой и все травы собранные на стол в горнице ссыпать. «Научу тебя сортировать их правильно. И поторапливайся, скоро опять дождь начнется, а тебе еще на болото идти, за ряскою».

Первый день в лесном доме бесконечным был, хотя вроде бы, когда ты работою занят, время должно быстрее бежать. Только вот я этого совсем не чувствовал, наоборот, минуты тянулись как патока. Травы мы отсортировали, потом Колдун вручил мне ведра и показал тропинку к лесному источнику. «Каждый день будешь воду приносить, у меня обычно шесть ведер уходит, а теперь с тобой, нахлебником, и все восемь получатся». Я и рад был от него избавиться: бродить по лесу одному было всё лучше, чем находиться в его присутствии, когда не знаешь точно, что от тебя хотят и ждут. Даже несмотря на то, что на обратном пути ноги мои подкашивались от слабости: в каждом ведре было двадцать литров, не привычен был я к такой работе. Путь длинный, тропинка скользкая. Так, по шажочку, и добрел. Несколько раз передохнуть останавливался, на дереве поваленном посидеть, травинку пожевать, на кроны деревьев посмотреть, на то, как беззаботно в них копошатся лесные птицы. И снова всплакнул от обиды – как там сейчас мои, что делает брат Петя, как мать объяснила ему мое отсутствие?

Колдун меня потом за неповоротливость отругал, сказал, что ползаю, как черепаха.

Только воду я принес, как меня на болото отправили. Болота в наших краях злые, топкие, много народу в них сгнуло – охотники да лесники знали, что ходить по лесу следует с осторожностью, потому что, если шагнешь в топь, обратного пути для тебя уже нет. Я рассказал об опасениях своих Колдуну, тот только усмехнулся: «Я большую часть жизни среди болот этих существую, как видишь, все в порядке! Если с лесом общаться правильно, если на языке его говорить, ничего он тебе не сделает». На болото Колдун меня все-таки проводил, он передвигался в чащобе так быстро и уверенно, как будто не человеком, а полужверем был, сказочным оборотнем. Ничего не боялся, безошибочно определял дорогу. Показал мне, какую ряску собирать в корзинку – изумрудную срывать, а буро-желтую не трогать. «А зачем это вам вообще? – рискнул спросить я. – Ее разве едят? Трава же бесполезная!»

Но он оставил мой вопрос без ответа, только хмыкнул – вообще не баловал меня разговорами. Казалось, что я его раздражал уже одним фактом своего существования, хотя не по своей, а по его воле оказался я в лесной обители.

Уже стемнело, когда мне был наконец предложен обед – буханка серого хлеба, на которую я набросился, как изголодавшийся дворовый пес, и какая-то горькая травяная каша, которую я только с опаской понюхал, а есть не решился. «Не советую пренебрегать моей пищей, – предостерег Колдун. – Другой ты здесь не получишь, а силы тебе нужны».

Вторая ночь в новом жилище прошла в бессоннице и тоске, и третья тоже, на четвертые сутки я был настолько утомлен, что даже был готов смириться и позволить тяжелой волне сна накрыть меня с головой – мысли мои путались, руки были изрезаны стеблями, я простудился и не получал никаких лекарств, кроме густого травяного отвара на меду. От голода меня пошатывало, кишки крутило, всё время хотелось есть, спать и сдохнуть – в произвольной последовательности. Мне было пятнадцать лет, и я чувствовал себя полутрупом без будущего. Если бы я знал, что через неделю, две или пусть даже полгода кто-нибудь вызволит меня из этого ада, меня бы спасала надежда. Но идти мне было некуда.

На пятую ночь тело запросило пощады, веки стали тяжелыми, и даже вечная фоновая тревога будто бы почтительно уступила место инстинкту самосохранения.

Но именно в эту ночь случилось то, что заставило меня до самого рассвета пролежать с колотящимся от страха сердцем, прижимая к груди собственную скомканную куртку, которую я использовал вместо подушки. Это был суррогат объятий. Как будто бы я был не один на свете. Так дети прижимают к себе плюшевых медведей, с младенчества привыкая к иллюзии дружбы и тепла.

Я лежал в крошечной темноте, когда скрипнула входная дверь, которую кто-то вдруг распахнул порывисто, не заботясь о том, чтобы остаться незамеченным.

Мои глаза уже достаточно привыкли к темноте, чтобы я счел разумным немного высунуться из-под лавки. Выполз, перебирая руками по прохладным доскам, как полудохлый пес из уютной конуры.

Это был Колдун. Сероватый лунный свет, пробивавшийся сквозь тонкие занавески, падал на его бледное, как у мертвеца, лицо и раскинутые руки. Глаза его казались бездонными. Но самое страшное – губы были перепачканы чем-то темным и липким, и по запаху, который исходил от него, было совершенно очевидно, что это кровь.

Я рос в деревне и хорошо знал запах крови. Последние годы мы жили на пороге нищеты, но бывали времена, когда мать каждую субботу точным движением отрубала голову жирной пестрой курице, а сосед однажды при мне резал свинью, которая верещала человеческим голосом. В этом визге были смертельная тоска, и боль, и узнавание предательства, и вкус гибели. А потом во дворе у нас пахло вот так же, как от Колдуна. Неостывшая кровь, нутряной густой запах требухи.

Пошатываясь, Колдун добрал до ведра в углу, схватил ковшик с водой, осушил его залпом. Потом снял рубаху и отжал ее прямо на пол, и я понял, что в крови была и вся его одежда. Как будто бы он убил кого-то, заколол ножом, а потом вывалился в останках – такой вот макабрический экстаз, праздник чужого последнего вздоха.

Я осторожно вполз обратно под лавку. Страх был похож на миллион остроконечных льдинок, впившихся в тело. Хотелось убежать, но я интуитивно понимал, что безопаснее вести себя как можно более незаметно. И реальность в ту же минуту подтвердила мою правоту – Колдун как-то странно дернул шеей, как животное, повел носом в мою сторону, несколько раз шумно вдохнул,

как будто бы прицениваясь к моему запаху, как будто сопоставляя его с кровью, в которой он был перепачкан.

Я вспомнил, что у Колдуна есть нож. Он вообще любил заточенный металл – травы срезал специальными серпами, у него был даже меч, который сделал для него на заказ местный кузнец. О, что это был за меч! С мутноватым темно-красным камнем в рукоятке. Скальпели, тяжелые и лаконичные метательные ножи, антикварный стилет с ржавым лезвием. Но самым любимым был нож, который Колдун называл ритуальным – простой, как будто бы кухонный, для жесткого мяса. Блестящее лезвие и грубо перемотанная рукоять. Колдун почти никогда с ним не расставался, носил за поясом в специальном кожаном чехле.

Ему явно было трудно стоять на ногах. Подавшись всем телом вперед, он уцепился пальцами за край столешницы массивного деревянного стола и так стоял довольно долго, в мрачноватой тяжелой прострации.

«Только бы не меня, только бы не меня... Пусть он обо мне забудет», – беззвучно бормотал я в темноте.

У страха и времени отношения особенные – вечный роман. Страх замедляет время, делает его тягучим, как растопленная ириска. Должно быть, прошло совсем немного времени – рассвет еще не коснулся наших подслеповатых окон, но мне казалось, что я заперт в вечности, как муха в янтаре. Это никогда не закончится. Кровь, тошнота, Колдун, уцепившийся за стол, и его страшные пустые глаза.

Но проходит всё...

Потому что Вечность – это пространство, а не явление. Она принимает всех – любого человека, планету, событие, пытку, благодать – принимает ненадолго, а потом растворяет в себе, лишая сначала формы, а потом и воспоминаний о ней.

Спустя много лет я это понял. А тогда, пятнадцатилетним мальчишкой, только догадывался, еще не умея поймать мысль и приодеть ее в правильные слова.

Колдун постоял так какое-то время, а потом, так же тяжело, грузно, двинулся к себе на лежанку. Засыпая, он шумно отрыгнул, и мне почудилось, что запах

переваренной крови стал глубже и ярче.

Позже мне часто приходилось видеть такое в этом доме, где прошли четыре самых странных года моей жизни.

Колдун часто возвращался из леса на рассвете, тяжелой поступью, как будто бы пьяный, хотя я точно знал, что алкоголь он презирал и называл «лифтом для слабоумных». В иные дни он ступал как девица, как будто бы тело его вовсе не имело веса, он мог подойти со спины и окликнуть меня, и это всегда было неожиданно, я не чувствовал ни его приближения, ни его взгляда. Но не в те ночи, когда он возвращался, перепачканный в крови.

Довольно быстро я потерял счет времени. Первые дни внутренне учитывал, а потом запутался – усталость, голод, непосильный труд забирали всё мое внимание. Вся тяжелая работа по дому была переложена на мои плечи. Я отвечал и за порядок, и за то, чтобы в старой бочке всегда была свежая вода, и за небольшой огород Колдуна (в котором росли какие-то диковинные растения, никогда прежде мне, выросшему в деревне, не встречавшиеся), и за сбор трав, и за то, чтобы печь была натоплена. Ни слова благодарности я ни разу от Колдуна не услышал.

Дом Колдуна со всех сторон окружен лесом густым – бурелом, вывороченные корни, зыбкие, опасные топи. Он как будто бы нарочно выбрал для жительства такое место, где никто бы его не нашел.

Колдун меня чем-то каждый день опаивал. Говорил: «Для иммунитета полезно, болеть никогда не будешь». Поднимался спозаранку и готовил в печи варево сложное – травы в нем были какие-то, корни, порошки, а под конец он даже щепотку пепла белого кидал в чугунок, что-то пришептывая. У него был комод, в котором травы разные и смолы хранились, все в подписанных на латыни баночках, как в средневековой аптеке. Комод на ключ запирался, и недоступность эта меня, мальчишку, возбуждала – людям часто запретное самым интересным кажется.

Однажды улучил момент: Колдун ключик в замке оставил, – подкрался да и заглянул. Не понял, конечно, ничего, но склянки показались зловещими. В одной были чьи-то сушеные перепончатые лапы, как будто бы огромной

ящерицы, в другой словно помёт овечий, зловонные затвердевшие шарики, в третьей – слизь с примесью сукровицы, в четвертой – пропитанные чем-то бурым бинты.

Колдун меня застучал – со спины незаметно подошел и как огреет метлой по шее! – искры из глаз посыпались. К зельям своим он так меня и не допустил ни разу, даже годы спустя, когда я кое-чему у него научился.

Для себя он тоже готовил утренний отвар, но в другом чугушке.

Я понимал, что он меня чем-то травит, крадет через вонючее зелье мои эмоции – и радости, и печали. Восприятие мое оставалось острым – соображал я хорошо, но уже спустя несколько недель поймал себя на том, что почти перестал вспоминать родные лица. Не было больше в сердце моем тоски, не было надежд, да ничего не было. Я словно зомби стал, идеальным работником.

Когда я это понял, попробовал схитрить. Принял из рук его ковшик, а когда он отвернулся, в помойное ведро вылил. Вроде не заметил ничего Колдун, а может быть, заметил, а мне не сказал, проучить меня решил, чтобы я выбор сам сделал – и на следующий день повторил я шулерство. И вот через день так плохо мне стало, так тоскливо – хоть бери в сарае веревку и вешаться в лес иди. Голод вернулся, ведь мы почти ничего не ели, а отвар утренний чувства притуплял. По ночам так промозгло стало, что я всем телом трясся, пытаюсь согреться. И плакать всё время хотелось, как девчонке сопливой. В глазах такая же сырость, как и на дворе, только и думаешь о том, как бы не выпустить слезу, не осрамиться. Не жизнь получается, а сплошная борьба с собою, а награда – всё та же беспросветная тоска.

Через пару дней я не выдержал и все-таки выпил варево – мне почти сразу же немного полегчало.

Получается, в пятнадцать лет я должен был сложный выбор сделать: либо жить с ясной головой, но при этом мерзнуть, голодать и кукситься, отринуть ту часть личности, которая боль может испытывать, медленно превращаться в робота, думать способного, а чувствовать – нет.

Может быть, я преодолел бы тоску и холод со временем, может быть, сгинул бы, увял бы, как тепличное растение, случайно высаженное на общую грядку.

Выбор мой, возможно, кому-то малодушным бы показался, да вот только осень подступала к нашим краям, ночи становились всё холоднее, дождь лил почти круглые сутки – как не печалиться, когда само небо всё время рыдает, как будто судьбу твою загубленную оплакивает. Я снова начал отвар пить. Мне стало намного легче. А тоска... Что мне она, тоска? Я старался удержать в памяти лица родных – мамы, брата Пети. Они мне больше не снились, но каждый вечер, заползая под свою лавку, я представлял их улыбки, старался, чтобы они стали последним воспоминанием дня.

У Колдуна в сарае гроб стоял, домовина дешевая, простая, из досок грубо сколоченная. Внутри – нехитрое ложе, какое мертвецам обычно готовят. Одеяло тонкое свернуто, подушка крохотная, плоская, на какой живому человеку не уснуть. Меня он пугал – я когда в сарае прибирался, старался не смотреть на него. Не понимал, зачем он нужен, для кого куплен был?

Однажды увидел – к ночи Колдун в сарай направился. Я знал, что опасно подсматривать, но и остановиться не мог. И жутко, и интересно. Чуть ли не на брюхе к сараю подполз, к щелочке жадно глазом приник.

Колдун в гробу лежит. Профиль как у мертвеца, нос заострился, щеки запали. В сарае уже темно, приходится глаза напрягать, чтобы что-то разглядеть.

Лежит, руки на животе сложил и вдруг мычать сквозь губы принялся. Звук такой противный – вибрирующее протяжное глухое мычание, на одной ноте, нескончаемо, и как у него хватило дыхания! Странный эффект у этого звука был – усыпляющий, морок наводящий. Стены поплыли перед моими глазами, как будто бы были сделаны из воска, огнем подогреваемого. Колдун ко мне лицо повернул – страшное, раздутое, такие лица у утопленников бывают. Рот открыл – челюсть чуть ли не на грудь ему упала, а вместо рта – дыра зияющая, как воронка. И потянуло меня вперед, показалось, что телом сквозь дряхлую стену сарая прохожу. Как будто бы ураганный смерч потоком ветра тянет за собою. И уши заложило, вместо обычных лесных звуков – там ворон горло прочищает, там дятел стучит, там сухие ветки хрустят под чьими-то лапами – вдруг услышал я звуки какие-то, словно живому миру не принадлежавшие. Лай, похожий на смех – не тот веселый и беззаботный, который сопровождает людей, легко парящих по жизни, но злой, монотонный, как если бы кто-то зло пошутил, точно зная об этом. Скрежет металла – словно где-то рядом вращается огромная

ржавая шестеренка. Голоса глухие – не то люди молятся, безнадежно, привычки ради, не то просто что-то бормочут, как умом тронутые, давно потерявшие связь с реальностью. Я руками за стену сарая вцепился, до боли, до заноз, ногтями по доскам скребу, но какая-то невиданная сила меня все равно вперед тащит, в пасть Колдуна.

Всё закончилось так же неожиданно. Я просто открыл глаза и увидел, что валяюсь в луже, возле сарая. Пару секунд приходил в себя, растерянно потирая голову, которая раскалывалась от тупой монотонной боли, щурился на темное небо, которое казалось слишком ярким, хоть и было плотно укутано низкими облаками. И только окончательно придя в себя и вспомнив, что произошло, подпрыгнул на месте, прищелкнул глазом к щели. Колдуна в сарае не было, гроб стоял вертикально, прислоненный к стене. Я с опаской вернулся в дом, и тут же мне было вручено ведро и отдана команда идти за водой к дальнему лесному ключу. Колдун сделал вид, что он ничего не заметил, не обратил внимания на мою перепачканную в грязи одежду, на мою бледность и страх в моих глазах.

Я тоже промолчал – так диктовало чувство самосохранения. Но следить за Колдуном не перестал – выше моих сил было жить рядом с такой сумасшедшей, полусказочной реальностью и просто исполнять роль немого и слепого прислужника, не пытаться хотя бы к чуду себя приобщить.

Хотя руку на сердце положу, и не верил я ни в какие чудеса. Да, сказки мрачные любил, как большинство детей в наших краях. Может быть, виною вечный дождь и мгла, может быть, удаленность от городов и близость темного леса, но любят у нас и байки замогильные, и сказки об упырях, слоняющихся и жадных до мяса припозднившихся путников, и о болотных девах, прекрасные лица которых улитками да слизнями усижены. Такая за руку возьмет и в топь утянет, тела и не найдет никто. Но я четко разделял – вот тут сказки, да, они щекочут нервы, они интересны и звучат почти как правда, ведь происходят в знакомых декорациях, а вот – настоящая жизнь, в которой одни будничные заботы, школьный курс математики и физики, научный атеизм, а чудо – это когда дождь пошел во время июльской засухи, и помидоры на огороде не погибли, хотя должны были.

Еще за годы до моего появления в доме Колдуна я слышал о нем много сплетен. Вся округа уважительным полупшепотом пересказывала друг другу байки о его

могуществе. Будто бы и с богами он говорит, и с бесами, и с мертвецами, и нет на белом свете проблемы, с которой он не мог бы справиться. Только вот лично почти никто из наших с ним не общался: дорого стоили услуги Колдуна, и не делал он землякам скидок. А те, кто все-таки шли ва-банк, продавали что-то и покупали его совет, потом предпочитали помалкивать, подробностями не сорить, но недовольными и обманутыми не выглядели.

Тогда, в начале девяностых, много научно-популярной литературы было издано. Я от скуки в районной библиотеке пачками книги брал, почти каждую неделю ездил за очередной стопочкой. Что-то читал внимательно, ну это, в основном, художественные романы, о приключениях, пиратах и гангстерах, что-то просто просматривал. И вот попалась мне однажды книга о том, как человек сам себя излечить может и вообще, подобно магу, судьбу свою творить. И слово есть для этого специальное – плацебо.

На самом деле, слово то – начало псалма, который в Средневековье на похоронах пели: «*placebo Domino in regione vivorum*». Распевали в том числе и плакальщики профессиональные, которые тем больше денег получали, чем громче и тоскливее выли. Так постепенно все искусственное стали этим словом называть. А потом термин в медицине укоренился, такая вот врачебная ложь во спасение – лекарство-обманка, лечебное внушение.

Это настоящее чудо самоисцеления – человек в буквальном смысле силой веры своей лечится. Силой веры можно горы свернуть. В той же книге случай описывался – одновременно страшный и забавный. Якобы был в семидесятые некий богач, которому диагностировали рак лимфоузлов в четвертой, неизлечимой, стадии. К известному врачу его привезли в инвалидном кресле, и дышал он через аппарат с кислородом. Но настолько хотел жить, что готов был любые деньги заплатить за хотя бы маленький шанс продления своих подлунных дней. И врач пожалел его, выписал ему препарат якобы нового поколения, который на самом деле не мог помочь пациенту, разве что подбодрить, мол, ты занимаешься по-прежнему лечением, а не просто медленно и так несправедливо угасаешь. И отправил бедного домой умирать. Какого же было удивление врача, когда через неделю пациент пришел к нему на осмотр уже на своих двоих, без всякого инвалидного кресла! А еще через несколько недель состояние его настолько улучшилось, что он даже смог пилотировать собственный самолет. Врач был потрясен и написал обо всем этом статью в медицинский журнал. И надо же так было случиться, что тот журнал попал в руки его чудом исцелившемуся пациенту. Тот прочел статью и понял,

что помогло ему не авторитетное лекарство, а вера слепая, его же собственный внутренний ресурс! Иной бы обрадовался, но богач, напротив, был разочарован настолько, что безнадежная болезнь вернулась к нему. Но доктор-то уже знал, как благодарно он реагирует на плацебо, поэтому пошел на авантюру: соврал больному, что на этот раз его действительно будут лечить новейшим и пока недоступным широким массам экспериментальным препаратом! И снова дал ему плацебо. Сценарий повторился: богач, уверовав, был излечен. И неугомонный врач, желая делиться чудом с миром, снова не смог промолчать и написал очередной материал в медицинский журнал. Богач нашел новую, уже вторую, статью, окончательно разочаровался в медицине и на этот раз заболел так, что вытащить его ни лекарства, ни чудеса не смогли.

Колдун впоследствии часто повторял мне, что вера – это волшебный универсальный ключ от всех дверей. Говорят же: каждому – по вере его. Кажется, всё так просто, однако это иллюзия. На самом деле, укорениться в вере – самая трудная задача для человеческой души. Уверовать так глубоко и плотно, чтобы вера эта статус знания обрела. Когда это происходит, ты и попадаешь в зону свершения чудес, вот она – настоящая магия, для которой ни колдовских ритуалов не нужно, ни волшебных зелий.

Я считал, что все дело в харизме Колдуна и в его внутреннем стержне. Даже будучи пятнадцатилетним несмышленным мальчишкой без какого-либо жизненного опыта, я понимал, что человек он необычный, каких на свете единицы, что такая сила в нем внутренняя, которой города брать можно. Мне казалось, что это ощущение передается всем вокруг – вот люди и верят в его могущество, вот и получают по вере своей чудесные свершения. Как с плацебо-лекарствами.

Но в то же время я видел, что Колдун будто бы в альтернативной реальности живет – и этот гроб в сарае, и эти его алтари, комод с аптечными банками, какие-то странные предметы, его личное ритуальное пространство, его одинокие походы в лес. Была у него тайная, сокрытая от чужих глаз жизнь, в которой правила какие-то свои законы и правила, свои грехи и воздаяния и своя, понятная ему одному, благодать.

Может быть, иной человек, услышав мой рассказ о вынужденном житии с Колдуном, возмутился бы моей приземленности: всё же мне была предоставлена возможность другой, связанной с чем-то запретным,

запредельным, волнующим, жизни. Я рос обычным деревенским мальчишкой, и будущее мое было, в сущности, предопределено – подошло бы к концу последнее беззаботное лето, мне пришлось бы поступить в какой-нибудь техникум, через два года я стал бы, например, автомехаником, целыми днями торчал бы в промасленном гараже, получая копейки, женился бы на какой-нибудь местной девице – с вероятностью сто процентов это была бы не соседская Светлана. Меня ожидали бы скучные будни, миллион похожих друг на друга дней. В доме Колдуна я был полностью оторван от мира и его мещанских реалий – мы как будто бы жили на отдельной планете. Зато в этом доме были книги – за первую долгую зиму я прочитал столько, сколько в иных обстоятельствах не прочел бы за всю жизнь.

За считанные месяцы я очень изменился. Речь моя стала плавной и образной, из нее ушла перчинка мата, теперь я мог отличить Платона от Плотина, иронию от сарказма; обострилась моя чувствительность, и, не глядя в небо и календарь, я мог точно сказать, убывает Луна или растет.

Несмотря на скудное питание, я окреп телом. Стал выносливым, как молодой волк. Колдун кормил меня плохо, по сравнению с этой аскезой опостылевший картофельный суп из моего детства казался гурманским раем. Мне никогда не удавалось поспать больше пяти-шести часов подряд, иногда целый мой день был занят тяжелым физическим трудом. Однако я возмужал, почти перестал простужаться. Вслед за относительно теплым августом наступил промозглый сентябрь – осень никогда не подкрадывалась к нашим краям, не отвоевывала свое право на территорию, она приходила резко и уверенно, как армия завоевателей на спящий город. В дом Колдуна я пришел без личных вещей, мои старые кеды совсем износились, и когда наступили холода, мне были выданы только легкий тонкий ватник и дождевой плащ. Мои кеды промокали насквозь, я привык к вечному ощущению влажного холода, однако ни разу не подхватил даже насморка. Может быть, дело было в тех травах, которые Колдун заваривал вместо чая, может быть, мое тело просто переключилось в режим выживания, и я был вынужден использовать все доступные ресурсы. Но я, очевидно, стал крепким и сильным.

И все же я не чувствовал себя счастливым, и каждое утро первой моей осознанной мыслью было: когда же все это наконец закончится? О побеге я перестал думать спустя месяц или два: понял, что это невозможно. Идти мне было некуда, Колдун был намного быстрее, сильнее и умнее меня, и у него было звериное, на уровне инстинкта, чувство леса. У меня же не было ни денег,

ни адреса, по которому меня хоть кто-нибудь бы ждал. Я был обречен жить подле Колдуна ровно столько, сколько мог быть ему полезным.

И мою жизнь едва ли можно было назвать интересной.

Колдун почти не разговаривал со мной, только давал разнообразные, преимущественно скучные поручения. Я не был ни его учеником, ни правой рукой, он не посвящал меня в тонкости своих дел, я выполнял черную работу. Убирал его дом, ходил к лесному роднику за водой, собирал для него травы и корни, иногда перебирал его книги в поисках нужной строки. Иногда поручения были необычными. Например, он просил пойти на старое кладбище и набрать крапивы с конкретных могил, или отрезать ножиком щепку с креста, или принести ему несколько щепоток земли.

Мне отчаянно не хватало общения, разговоров с обычными людьми. Когда к Колдуну приходили посетители, мне было строго-настрого запрещено даже появляться перед ними – я скрывался в сарае, отсиживался там в темноте.

А еще я скучал по брату, почти каждый день вспоминал его, думал, как он там? Почему-то я был уверен, что Петя жив, что деньги, за которые мать обрекла меня на лесное затворничество, помогли вытянуть его с того света. Однажды я набрался смелости и попросил у Колдуна разрешения навестить своих, но тот только криво усмехнулся в ответ.

Я был пленником и человеком без будущего.

А когда наступила зима, моя первая зима в его доме, я понял, что зря жаловался – худшее меня ждёт впереди. Иногда я всю ночь не мог уснуть от холода, казалось, я чувствую этот холод каждой косточкой, каждой клеточкой тела. Колдун будил меня, когда было еще темно, и засыпал я тоже во тьме. Именно зимой я, кажется, впервые в жизни плакал от усталости.

Но все же я старался не раскисать. Понимал, что если позволю разрастись жалости к себе, то не выживу. Печальные мысли – это роскошь, потому что они забирают слишком много ресурса. Напротив, я старался внутренне как можно дальше отойти от собственной личности. Как будто бы существовали два Егора – у одного была семья, прошлое, детские влюбленности, глупые мечты и надежды. А второй просто машинально делал то, что приказывали, как робот,

как дрессированный пес.

Я выполнял всю тяжелую работу в доме Колдуна, а он, казалось, вообще не замечал моего существования. Я не то чтобы слова благодарности от него ни разу не слышал, даже не мог вспомнить момента, когда он бы посмотрел мне в глаза. Все указания Колдун давал, говоря как бы в сторону, в пространство, сквозь зубы. Возможно, если бы кто-нибудь сказал бы ему, что я тоже живой человек, он бы искренне удивился.

Шли месяцы, и мое отношение к Колдуну менялось.

Поначалу я его ненавидел – это была холодная лютая ненависть запертого зверя, который ведет себя спокойно, но если ему представится шанс, порвет любого приблизившегося в клочья. Меня раздражало в нем всё – прямая спина, тихий голос, даже его запах. Иногда я смотрел, как он идет по лесу, бесшумно, как кот, под его ногами даже ветки не хрустели, и думал: чтоб ты сдох, чтоб ты сдох... Не знаю, подозревал ли он об этом, думаю, ему в любом случае было все равно...

Но время шло, и однажды, к своему удивлению, я поймал себя на мысли, что начал подражать своему мучителю. Копировать его жесты, интонацию, походку. Мне захотелось быть похожим на него, стать таким же безупречным. Аскеза Колдуна была строже моей, но его это, казалось, ничуть не заботило. Случались ночи, которые он проводил совсем без сна, и дни, в которые он не принимал никакой пищи. Его это не огорчало, он оставался таким же невозмутимым и энергичным. Настроение его всегда было ровным и не зависело от внешних обстоятельств. Я не мог представить Колдуна плачущим или тоскующим. Даже его лицо свидетельствовало о глубоком внутреннем равновесии на грани полного отсутствия человеческих эмоций. Он был молод и полон сил.

Мне было интересно его прошлое. Интересно, каким он был в моем возрасте? Был ли он когда-то обычным мальчишкой или сразу родился, словно не от мира сего? Кем были его родители, были ли у него друзья, где он учился, что читал, когда ему пришла в голову мысль поселиться в этом лесу? В конце концов, любил ли он когда-нибудь женщину? Забегая вперед – ответов я так и не получил, даже когда Колдун наконец начал со мною общаться.

Одним из моих любимых нехитрых развлечений было следить за Колдуном. По крупицам собирать о нем информацию. Конечно, у меня не было никаких шансов красться за ним по лесу – я был бы замечен, не пройдя и пары метров. Зато иногда мне удавалось подслушать его разговоры с людьми, которые обращались к нему за помощью. Об их визитах всегда было известно заранее. Никто из них самостоятельно не нашел бы дорогу к его дому, Колдун встречал их где-то на станции, за несколько километров от нашего жилья. Если честно, я не понимал, зачем он так рискует, принимая всех этих гостей в своем доме. Ведь любой из них мог запомнить дорогу, вернуться, привести журналистов. Но видимо, он был уверен в том, что произойти такого не может и никто нас без его воли не найдет. И вот эти люди, – а услуги Колдуна стоили дорого, так что воспользоваться ими могли только те, кто деньги не считает, – вынуждены были оставлять свои машины на обочине и брести вслед за ним по лесу, по хлюпающей под ногами земле, перепрыгивать с кочки на кочку, рискуя провалиться в болото. Когда они приезжали, я скрывался в сарае – так велел мне Колдун, – но иногда мне удавалось тихонечко обогнуть дом, прильнуть к одному из окошек и подслушать. В этом была и мальчишеская жажда риска, и суеверный интерес – проблемы-то у всех этих людей были специфические, и вещи, которые они обсуждали с Колдуном, заставили бы многих потерять сон от первобытного потустороннего страха.

Приводил он в дом и коренастых парней с циничным прищуром пустых глаз. Они носили кожаные куртки и называли друг друга «братишка». В девяностые таких было много – смерть висела над ними серым покрывалом, они это понимали и готовы были отдать многое за то, чтобы от нее уклониться. Колдун делал для них талисманы – брал у каждого кровь, потом заговаривал ее, пропитывал ею какие-то тряпки, исписанные сигилами и надписями на незнакомых мне языках, а тряпки зашивал в куклы – обычные самодельные куклы, косорылые, с грубыми швами, глазами-пуговицами и нитяным прочерком вместо рта. Кукла такая три дня и три ночи заряжалась на специальном алтаре – подходили для этого определенные дни лунного цикла. И только после этого талисман вручался владельцу, и говорили, что с тех пор тот становился неуязвимым, мог безнаказанно повышать градус наглости. Правда, случалось так, что некоторые заказчики не доживали до воссоединения с талисманом – время все-таки было лютое.

Приходили к Колдуну и женщины, в основном их интересовали привороты.

Женщин этих можно было поделить на две группы – жены, пытавшиеся удержать ускользающих из семьи мужей, и любовницы, страстно желавшие этих самых мужей увести.

Одна мне запомнилась особенно – никогда раньше я не встречал женщин такой дивной, инопланетной красоты. У нее было лицо ангела и совершенно циничный запрос – ей хотелось, чтобы жена бизнесмена, у которого она работала секретаршей и который иногда развлекался с ней по вечерам в пятницу, перестала существовать на этом свете. Чем-то она была похожа на Лукрецию Борджиа, портреты которой я видел в книге Колдуна. Золотые волосы, овечья кротость в глазах, белая кожа, красиво очерченный маленький рот. Было странно представить, что это существо может желать кому-то смерти – впрочем, возможно, это была детская привычка любимицы семьи, признанной красавицы, бессменной Снегурочки школьных новогодних утренников, всегда получать желаемое. И ей казалось, что даже чужая жизнь стоит ее священного «хочу». Колдун выгнал ее вон, а она так трогательно ему угрожала и обещала, что сотрет его дом с лица земли, хотя в реальности вряд ли смогла бы даже найти обратную дорогу на станцию, так и сгинула бы в лесах, если бы Колдун ее не проводил.

Приходил однажды известный телеведущий, я помнил его в лицо. Мы с мамой и братом как-то видели ток-шоу, в котором он принимал участие. Врачи поставили ему неприятный диагноз и честно сообщили, что в его распоряжении остались считанные месяцы. Он был готов отдать все, чтобы продлить дни своего существования под луной, был в отчаянии и даже плакал. Он не мог смириться с собственным потенциальным отсутствием в мире, который был к нему так благосклонен. Спустя несколько лет, уже переехав в город, я видел его по телевизору. Выходит, Колдун смог ему помочь, отвоевать для него величайшую из земных драгоценностей – Время.

Мне наивно казалось, что мое молчаливое присутствие оставалось незамеченным, я чувствовал себя шпионом и сталкером, в очередной раз выбираясь из сарая, чтобы подслушивать, прильнув к окну. Спустя месяцы я узнал, что Колдун был в курсе моих походов. Почему он не стал мне мешать и даже не отругал меня – не знаю. Может быть, его развлекала моя наивность, может быть, он хотел посмотреть, насколько далеко способен я зайти в своем непослушании, а может быть, уже тогда он разглядел во мне того, кем я в итоге и стал для него. Ученика. Человека, достойного того, чтобы передать ему секреты мрачного ремесла. Хотя, скорее всего, причиной было равнодушие.

Колдун знал, что в любом случае помешать ему я никак не смогу.

Может быть, я так и сгинул бы, выполняя его мелкие поручения, постепенно старясь в лесу. Если бы не один случай, произошедший примерно спустя год после моего появления в лесном доме, – случай, который изменил мою жизнь.

Еще ранней весной, в марте, Колдун, видимо, решил, что мои возможные мысли о побеге остались в прошлом и можно послать меня с поручением в «большой мир». Может быть, у него просто не было иного выхода – ему нужен был ассистент, а рядом находился только я.

В общем, однажды он велел мне собраться и объявил то, что я мечтал услышать все эти месяцы: мы едем в город. Едем в город вместе! Я увижу что-то другое, кроме леса. Других людей, осколки другой жизни! К тому времени я уже понимал, что вряд ли такое событие могло стать чудом избавления – в городе я был чужим, никто бы не заинтересовался мною настолько, чтобы спасти. Мне было уже шестнадцать лет, и я был человеком без документов, образования и дома. Колдун понял, что я смирился и вряд ли попробую сбежать, поэтому и взял меня с собою. Он даже выдал мне куртку с отороченным мехом капюшоном – вместо привычной телогрейки, пропахшей лесом, сыростью и костром.

Сначала мы долго шли по лесу – как всегда, он впереди, я – чуть поодаль. Я даже припрыгивал от нетерпения, как молодой щенок. Наконец он вывел меня к слякотной дороге, и я даже зажмурился и попятился – настолько отвык от шума и присутствия других людей.

Мимо нас мчались машины, в них сидели какие-то люди, в профили которых я жадно всматривался – как будто бы странник пустыни, надеющийся напиться из колодца, который на самом деле был миражом.

По обочине мы дошли до автобусной остановки, а потом долго тряслись в маленьком натопленном автобусе с запотевшими стеклами. Напротив меня сидела пара – бабушка и внучка, моя ровесница. У девицы было рыхловатое нарумяненное лицо, накрашенные синей тушью ресницы и массивные серьги с бубенчиками, с которых облезла искусственная позолота. Смешная детская жажда вульгарности, нежнейший возраст, когда почему-то порок кажется

притягательным. Я исподтишка рассматривал девушку, и в какой-то момент она, заметив мой взгляд, улыбнулась, вздернула бровь и что-то прошептала мне одними губами – я не смог разобрать, что именно. Она держалась так, словно я был обычный парень, и это почему-то льстило. Чужой человек не почуял во мне отшельника и лишенца – значит, лицо мое (к слову, в доме Колдуна зеркал не было – только черное, ритуальное, в которое заглядывать мне было категорически запрещено; так что я уже много месяцев не видел себя, не знал, как изменил меня лес) было лишено печати беды, которая интуитивно отталкивает людей. Мне совсем не нравилась эта девушка. Она была слишком земная, полная, сочная и румяная, от нее пахло сладкими дешевыми духами, и ее было слишком много в пространстве – ее тела, ее запахов, ее энергии. Меня всегда привлекала, напротив, призрачность и тонкость. Но тайком обмениваться с ней взглядами было приятно – в этом было что-то интимное и запретное.

Через несколько часов мы наконец прибыли в небольшой городок, в котором мне доводилось в детстве бывать с матерью и братом. Серые улицы, грязный снег по обочинам, почти нет машин, ни одного дома выше пяти этажей. В центре сохранились старые деревянные особнячки – теперь они покосились и потемнели, как гнилые зубы во рту старика, но в них по-прежнему кто-то жил. Я жадно всматривался в окружающую реальность: вот усталая женщина тянет за собою санки, в которых сидят два укутанных малыша, вот чье-то белье сушится на морозе, а вот компания молодых парней о чем-то смеется, закуривая. Хозяйственный магазин, кафе с пластмассовой вывеской, набережная, по которой гуляет ветер. Все это ласкало взгляд, привыкший к одному только лесу.

Колдун привел меня в ресторан. Кажется, это был единственный приличный ресторан в городке. Приглушенный свет в гардеробе, мужчина в синтетическом костюме и криво повязанном изжеванном галстуке-бабочке принял наши куртки, и я даже стушевался – пустят ли нас сюда? Но никто и слова не сказал – напротив, все обращались к Колдуну почтительно. Видимо, он приходил сюда не впервые.

Колдун дал мне странное задание: сесть за столик в самом углу, заказать себе всё, что хочу, и не отсвечивать. У него предстоит важная встреча и короткий разговор, после чего он пойдет проводить собеседника к двери, я же должен, опередив официанта, взять чашку, из которой тот пил, и быстренько вытереть ее кромку чистым носовым платком. И обставить всё так, чтобы не обратить на себя внимание.

Я почти не удивился: за месяцы жизни с ним начал понимать, что к чему. Колдуну был нужен «биологический отпечаток» того человека – крошечные частички его слюны, оставшиеся на чашке.

Официант принес мне меню в тяжелой кожаной папке. Я читал меню как волшебную сказку о неведомых мирах. Для человека, привыкшего к голоду, все названия звучали как прекрасная музыка: рулетики из баклажанов с орехами, салат с курочкой в карамели, цыплята-табака с соусом из чернослива, судак по-польски в меду, пирожные с заварным кремом...

У меня даже голова закружилась от предвкушения, хотелось съесть это все, попробовать хоть по маленькому кусочку каждого блюда, есть впрок, набить живот так до колик – это была бы месть за столько голодных лет. Колдун не был стеснен в средствах, и его кошелек едва бы заметил, если бы я действительно велел уставить весь стол яствами. Но...

Официант подошел ко мне с вопросительной улыбкой, и слова застряли в горле комом. Зимними ночами, дрожа от холода на своей убогой постели под лавкой, я так мечтал о том, что однажды пойду в сельский магазин к самому открытию, куплю буханку еще теплого хлеба и прямо тут же, на крылечке, съем, лицом уткнувшись в дышащее тесто, как в колени матери. Я так ясно представлял себе это, что, кажется, даже чувствовал волнуемый хлебный дух, и рот мой наполнялся слюной. Но сейчас я беспомощно смотрел на официанта, с ужасом осознавая, что желудок мой не примет ничего, кроме самой простой еды. От хлеба мне станет дурно, пирожные с масляным кремом войдут в него как гвозди, и даже картошка со шкварками станет моим якорем. Лишит той легкости, к которой я успел привыкнуть и которую начал воспринимать чем-то естественным.

– Мне большой стакан воды, – промямлил я.

– И все? – удивился официант.

– И... яблоко печеное.

Я вдруг заметил, что Колдун смотрит на меня внимательно, словно оценивает. Мне показалось, что он мною доволен и удивлен моей тихой сдержанностью. Черт его знает, может быть, помощь моя была бутафорская, а на самом деле это был экзамен на преданность. Он просто хотел посмотреть, как я буду себя

в городе вести, не попробую ли сбежать, не будет ли каких-то неприятных выходов.

И видимо, он остался доволен, потому что с тех пор начал иногда брать меня с собою – порой мы ездили в город, иногда ходили к пасечнику или вместе бродили по лесу.

И вот во время одной из таких наших совместных вылазок произошел случай, который навсегда изменил и мою судьбу, и мой статус в доме Колдуна.

Неизвестно зачем понадобилось ему пойти в нашу местную церковь. Колдун велел мне сопровождать его, но что конкретно мне придется делать – не сообщил.

Когда мы прибыли на место, он сразу же словно забыл о моем существовании, оставил меня стоять в уголке, а сам взял за локоток какую-то женщину из прихожанок, утянул ее в угол, почти к самому алтарю, и начал о чем-то с ней увлеченно перешептываться.

Мне было немного не по себе, потому что в середине церкви стоял гроб. Мы пришли на церемонию отпевания, вокруг стояли люди с тоской на лицах, некоторых я смутно помнил, они принадлежали моему прошлому, когда не было в моей жизни никакого леса и никакого Колдуна.

Неожиданно меня за рукав схватила незнакомая женщина, я сначала отстранился инстинктивно, но потом ее признал. Соседка наша, мать Светланы, детской моей влюбленности. Она так постарела и подурнела, как будто бы мы двадцать лет не виделись. Ненавидела меня всегда, а тут вцепилась крепко и обнять пытается.

– Что вы... Зачем вы... – забормотал я, пытаюсь ее отстранить, но силы были неравны.

– Померла, – лепетала она, – померла-а-а...

– Кто? Что с вами?

– Светка моя... – Женщина утерла рукавом распухший нос. – А ты не к ней разве пришел? Любил ее, зна-а-аю. Да что уж теперь... Помяни сегодня Светку мою, хорошая она девка была, хоть и странная...

Мне стало дурно. Медленно обернувшись к гробу, я увидел, что в нем действительно лежит молодая девушка, только вот Светлану в ней признал не сразу. Смерть все-таки сильно меняет черты. Она как-то похудела, вытянулась, нос заострился. Покойницу некрасиво нарумянили – чересчур ярко, и повязали несуразным платком. Она была больше похожа на куклу, чем на человека.

Как в тумане я шагнул к гробу.

Сладковато-мускусные курения, монотонный бас попа, бледный профиль покойницы, пляшущие огоньки свечей – от всего этого у меня закружилась голова. А потом случилось и вовсе странное: как будто бы кто невидимый подал мне руку и вытащил из моего тела нечто, что и описать трудно – словно мою сущность. Тело осталось стоять у гроба, чуть поодаль от плачущих родственников Светланы, продолжало дышать, по венам и артериям текла кровь, и оно ничем не отличалось от других человеческих тел. Но я-то, я – настоящий, знал, что это иллюзия, потому что я – бесплотный и быстрый, как бес – кружу над гробом, не понимая, что делать дальше, что происходит, к чему это всё. Мне было одновременно и жутковато, и интересно, и немного тошно.

Я подумал о том, что ведь и у других людей есть это бесплотное и непостижимое, больше имеющее отношение к вечности, чем к моменту, видимо, именно это и называют душой.

Я опустил взгляд и обомлел: лицо покойницы изменилось, теперь Светлана словно прилегла отдохнуть, она больше не была похожей на восковую куклу. Выгоревшие ресницы Светланы дрогнули, наверное, ей было трудно разлепить глаза, ведь мертвецам заклеивают веки. Никто из присутствовавших не обращал внимание на то, что происходит прямо у них под носом – чудо воскресения. Маленькая деревянная иконка, вложенная в мертвые руки, с тихим стуком ударилась о церковный пол, бледные пальцы пошевелились, хрустнули одеревеневшие суставы – Светлана просыпалась.

Наконец она открыла глаза, и в самый первый момент взгляд ее был тусклым, кукольным, не выражающим ничего, потусторонним.

Я тихонечко, чтобы не напугать, позвал ее, не вслух, а голосом, лишь нам двоим слышимым. Почему-то я точно знал, что надо делать, мною как будто бы руководил древний инстинкт. Я как-то сумел позвать мертвую так, чтобы она заметила меня и откликнулась.

Позже Колдун расскажет мне, что человеческое сознание хранит отпечатки таких инстинктов. На плаву осталось лишь то, что позволяет нам выживать. Современному человеку не требуется разгоняться до скорости гепарда, в одну секунду вспрыгивать на дерево или слышать зов с другого берега Стикса. Но все это можно разбудить, присвоить себе, утвердив торжество эволюции в рамках одного-единственного человеческого существа.

Вообще, в Колдуне удивительным образом уживались абсолютная трезвость ума и мистическое мировоззрение. Иногда казалось, что ни в бога, ни в черта он не верит. Он много читал: нейробиология, химия, физика, философия. Он любил говорить, что если бы Платон жил в эпоху функциональных томографов, его интеллект хватило бы на то, чтобы примирить науку и бога. Он открыл бы формулу бога, растиражировал бы ее и сделал доступной – хотя бы для тех, кто способен видеть не плоскую картинку, а хитросплетение взаимосвязей. Но... В его доме были алтари. Алтарь Гекате, мрачной трехликой богине, – девять черных свечей, сигилы на восковой бляшке. Кровавый и лаконичный алтарь Марса и нежный, с медом и розами, чужестранной Эрзули.

Он ловко лепил куколок из воска, и я знал, что такой куколкой он может влюбить человека, а может и прикончить чью-то жизнь. Он умел подсматривать чужие сны и слушать могилы. Бывало, он надолго уходил в лес, а возвращался с окровавленными губами и мутным взглядом. Боги, бесы, демоны, мертвые были его собеседники, покровители и слуги.

И в то же время Колдун не любил, когда о магии говорили как о волшебстве.

Нет никакой магии – так он меня учил. Существует лишь более широкий взгляд на мир. Есть законы, которые пока не сформулированы. Не верить в неизведанное – глупо и наивно, что не раз доказывала история человечества.

Светлана смотрела прямо мне в глаза, и никогда она не была более прекрасной, чем в этот момент. Она больше не принадлежала собственной плоти, она как будто бы вырвалась из тюрьмы, расправила крылья, стала свежее, тоньше, беззаботнее. В ее взгляде был покой вечности и тающая тоска по всему несостоявшемуся, по тому, что ей, возможно было уготовано. Неслучившаяся жизнь, невстреченная любовь, недостроенный дом – в нем она растила бы детей, которым никогда не суждено было появиться на свет из ее теперь набитого старыми тряпками чрева. Неувиденные ею дальние дали, непрочитанные строки, которые заставили бы ее смотреть на линию горизонта, нахмурившись. Вся ее несостоявшаяся суета – это было похоже на ломаный танец призраков. Ей было всего шестнадцать лет, и через четверть часа гроб с ее телом должны были отнести к уже разверстой влажной яме.

Во взгляде ее не было растерянности, она не просила меня о помощи, просто молча делилась со мною этим растворяющим блаженством вечности, тем, что уже невозможно отнять. Как снисходительный гид, который показывает окрестности обалдевшему от красоты туристу.

Я не знаю, сколько прошло времени, но к реальности меня вернул грубый хлопок ладони по спине.

Я очнулся и как пловец, вынырнувший из глубины к свету, какое-то время не мог примириться с реальностью. Я по-прежнему стоял посреди церкви, гроб с телом Светланы уже вынесли, и мы остались вдвоем – я и Колдун, который смотрел на меня так, словно увидел впервые.

– Идем, – кивнул он. – Ты понимаешь, что произошло?

– Я видел ее... Она смотрела на меня, – пересохшими губами прошептал я.

Меня шатало и мутило, воздух был слишком тягучим и плотным, было неприятно впускать его в легкие. Колдун в прямом смысле выволок меня из церкви, и, отойдя на несколько шагов, я рухнул в бурьян и меня вывернуло наизнанку.

– Она чуть не забрала тебя с собой. Идем же. Тебе надо отдохнуть. Потом я все тебе объясню.

Наверное, это был мой самый лучший вечер в доме Колдуна. Я жил подле него два года, и все это время был едва удостоен взгляда и нескольких дежурных слов. Со мною обращались как с крепостным. Но в тот вечер Колдун ухаживал за мною как за сыном. Напоил каким-то пряным горячим отваром, от которого кровь прилила к щекам, заставил улечься на лавку и закутаться в грубое шерстяное одеяло. Потом случилось и вовсе чудо: он поджарил для меня картошку. Я уже успел отвыкнуть от такой еды – простой, человеческой, деревенской, и она показалась мне пищей богов. Я смаковал, желая растянуть забытое удовольствие. Колдун сидел возле меня, пока я не уснул. Время от времени он брал меня за руку и слушал пульс. Наконец ему показалось, что со мной всё хорошо...

Я уснул и провел в черном омуте без сновидений целую вечность – три дня и три ночи. А когда наконец пробудился, Колдун посадил меня напротив и поставил передо мной ковшик с темным отваром – велел выпить до дна. Так я и сделал, после чего едва за порог ноги сумел вынести – меня наизнанку вывернуло на крылечке. Зато в голове прояснилось – словно водой меня ледяной обдали с головы до ног. Я почувствовал себя свежим, мысли были ясные, хотелось плечи расправить и полной грудью дышать. Я немного постоял на крылечке, с наслаждением щурясь на солнце. Все таким ярким казалось – высокое небо, шелестящая листва.

Колдун меня в доме ждал. Он изменился, по-другому смотрел на меня, с интересом и каким-то даже будто бы теплом. Никогда раньше я такого отеческого выражения на его лице не видел, это было удивительно.

– Не ожидал я от тебя, мальчик, – покачав головой, наконец сказал он. – Ошибся я в тебе. Думал, ты пустой. Мать твоя просила тебя в услужение принять, говорила, из мальчишки толк будет.

– Да? – удивился я. – Я думал, она ради денег... Продала меня.

– И это тоже, – усмехнулся Колдун. – Да вот только она все твердила: мальчишка у меня, мол, непростой. Сны ему яркие снятся, фантазия богатая, мысли такие, иногда скажет такое, что и вовсе не понятно, словно не твой сын говорит, а профессор из телевизора. Просила меня присмотреться к тебе. Но я только твое лицо увидел, как понял – пустое, не нашей ты крови человек. И вот,

выходит, ошибся.

– Что вы имеете в виду? Какой еще «нашей крови»? – заинтересовался я.

Я находился в том возрасте, когда полумифическая принадлежность к группе каких-то странных «мы» льстит и будоражит воображение.

– Мы – это те, кто мир тоньше чувствует, – усмехнулся Колдун, – нас мало, почти все в «третьем возрасте» находимся, глубокие старики. А у тебя, получается, вообще редкий дар, ты с самой Смертью общаться умеешь.

– Как со Смертью можно общаться? – удивился я. – Она, чай, ни о чем не спрашивает и ничего не говорит. Приходит и забирает свое, вот и всё.

– Так-то оно так, – согласился Колдун. – Но ты же сам помнишь, что видел в церкви. Покойницу ты видел, Светлану. Смотрела она на тебя, так? С собою, поди, звала?

Я поежился, вспомнив прозрачные мутные глаза, в которых утонуть хотелось, как в гиблом омуте. Вспомнил, как парил под церковным потолком, какой гул и скрежет в ушах стоял, и еще будто бы смех тоненький, хрустальный, детский, словно ангелы меня приветствуют.

– Видел... Я сам не понял ничего. Я как будто бы из тела своего вылетел. Свободно парил.

– Это редкость, – серьезно сказал Колдун. – Ты ведь знаешь, чем я тут занимаюсь. Много раз замечал, что ты следишь за мной.

– Вы видели? – подпрыгнул на стуле я. – И ничего мне не сказали?

– Мне было любопытно, что ты дальше делать станешь, – ухмыльнулся он. – Ты мне не мешал. Конечно, я с самого первого раза видел, как ты крадешься за мной, трогательно по траве ползешь. Я в лесу уже четверть века живу, волка за километр почуять могу, а тут мальчишка как хвостик за мною шастает... Я считал тебя бесполезным, но безобидным. А теперь выходит, ты помогать мне можешь.

– А я разве не помогаю?

– Помогать в моей настоящей работе, – уточнил Колдун. – Ишь как глазенки заблестели. Ты, мальчик, не обольщайся, много времени пройдет, прежде чем к делам допущен будешь. Сначала азам научу, а там посмотрим.

– И что это за работа? – У меня даже дыхание от возбуждения перехватило.

Нельзя сказать, чтобы я на сто процентов верил в разрекламированное могущество Колдуна. Его жизнь казалась мне какой-то полусказочной. Но одно дело – прозябать в лесу, таская воду в тяжелых ведрах и надраивая дом, и совсем другое – быть учеником настоящего колдуна!

– И не надейся, – как будто бы прочитал мои мысли он. – Я просто помогу тебе развить твой дар. Научу тебя правильно со Смертью разговаривать, получать от нее то, что надо тебе. Это полезное ремесло, с таким нигде не пропадешь. А ты за это мне помогать будешь, столько, сколько мне потребуется.

Мне только и оставалось, что кивнуть согласно.

На Колдуна работали и другие. Он называл их «агенты». Во всех окрестных городках у него были «свои», те, которые были в состоянии исполнить странные его задания.

Рыжая Нина когда-то была хороша собой, но с возрастом оплыла и разбухла, оставив в прошлом блеск глаз, смех, и жажду жизни. Ей было немногим за пятьдесят, иные женщины в этом возрасте лишь начинают удивляться, что увядание приходит так внезапно и неумолимо, и пытаются сопоставить свои амбиции с числами в паспорте. Большинство из них обречено на проигрыш – слишком древний и последовательный их соперник, время. Для того чтобы время обмануть, нужны стратегия и труд – с самой юности.

Но Нина к их кругу не принадлежала. Она давным-давно смирилась с фазой дожития и ничего хорошего от будущего не ждала.

Спасение она нашла в круговороте машинальных дел, справляясь с отведенными ей часами и минутами как завоеватель, напавший на спящий город.

Нининого первого мужа посадили, он так и сгинул в колонии где-то в Западной Сибири. Второй муж однажды тихо умер во сне – она и не сразу заметила. Утром беляши для него испекла, потом на рынок ушла, затем еще телевизор смотрела в его безмолвном присутствии – «Угадай мелодию». И ее даже почти не удивляла глубина его сна. Алкоголики засыпают, как в болото топкое проваливаются, она давно к такому привыкла. Только увидев, как жирная муха залетела в его полуоткрытый рот, Нина поняла – а ведь мертвый он!

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tn.knigapoisk.com/ru/maryana-romanova/staroe-kladbische-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)